

Часть четвертая

I. ГОСПОДИН НУАРТЬЕ ДЕ ВИЛЬФОР

Вот что произошло в доме королевского прокурора после отъезда г-жи Данглар и ее дочери, в то время как происходил переданный нами разговор. Вильфор в сопровождении жены явился в комнату своего отца; что касается Валентины, то мы знаем, где она находилась.

Поздоровавшись со стариком и отослав Барруа, старого лакея, прослужившего у Нуартье больше четверти века, они сели.

Нуартье сидел в большом кресле на колесиках, куда его сажали утром и откуда поднимали вечером; перед ним было зеркало, в котором отражалась вся комната, так что, даже не шевелясь, — что, впрочем, было для него невозможно, — он мог видеть, кто к нему входит, кто выходит и что делается вокруг. Неподвижный, как труп, он смотрел живым и умным взглядом на своих детей, церемонное приветствие которых предвещало нечто значительное и необычное.

Зрение и слух были единственными чувствами, которые, подобно двум искрам, еще тлели в этом теле, уже на три четверти готовом для могилы; да и то из этих двух чувств только одно могло свидетельствовать о внутренней жизни, еще теплившейся в этом истукане, и взгляд, выражавший эту внутреннюю жизнь, походил на далекий огонек, который ночью указывает заблудившемуся в пустыне страннику, что где-то есть живое существо, бодрствующее в безмолвии и мраке.

Зато в черных глазах старого Нуартье, с нависшими над ними черными бровями, тогда как его длинные волосы, спадающие до плеч, были совершенно белы, в этих глазах — как бывает всегда, когда тело уже перестает вам повиноваться, — сосредоточилась вся энергия, вся воля, вся сила, весь разум, некогда оживлявшие его тело и дух. Конечно, недоставало

жеста руки, звука голоса, движений тела, но этот властный взор заменял все. Глаза отдавали приказания, глаза благодарили; это был труп, в котором жили глаза; и ничто не могло быть страшнее подчас, чем мраморное лицо, в верхней половине которого заигался гнев или светилась радость. Только три человека умели понимать этот язык несчастного паралитика: Вильфор, Валентина и тот старый слуга, о котором мы уже упомянули. Но так как Вильфор видел своего отца только изредка и лишь тогда, когда это было, так сказать, неизбежно, а когда видел — ничем не старался угодить ему, даже и понимая его, то все счастье старика составляла его внучка. Валентина научилась благодаря самоотверженности, любви и терпению читать по глазам все мысли Нуартье. На этот немой и никому другому не понятный язык она отвечала своим голосом, лицом, всей душой, так что оживленные беседы возникали между молодой девушкой и этой брэнной плотью, почти обратившейся в прах, которая, однако, еще была человеком огромных знаний, неслыханной пронизательности и настолько сильной воли, насколько это возможно для духа, который томился в теле, переставшем ему повиноваться.

Таким образом, Валентине удалось разрешить нелегкую задачу: понимать мысли старика и передавать ему свои; и благодаря этому умению почти не бывало случая, чтобы в обыденных вещах она не угадывала вполне точно желания этой живой души или потребности этого полубесчувственного трупа.

Что касается Барруа, то он, как мы сказали, служил своему хозяину уже двадцать пять лет и так хорошо знал все его привычки, что Нуартье почти не требовалось о чем-либо его просить.

Вильфору не нужна была ничья помощь, чтобы начать с отцом тот странный разговор, для которого он явился. Он сам, как мы уже сказали, отлично знал весь словарь старика, и если он так редко с ним беседовал, то это происходило лишь от полного равнодушия. Поэтому он предоставил Валентине спуститься в сад, отослал Барруа и уселся по правую руку от своего отца, между тем как г-жа де Вильфор села слева.

— Не удивляйтесь, сударь, — сказал он, — что Валентина не пришла с нами и что я отослал Барруа; предстоящая нам беседа не могла бы вестись в присутствии дочери или лакея. Госпожа де Вильфор и я намерены сообщить вам нечто важное.

Во время этого вступления лицо Нуартье оставалось безучастным, тогда как взгляд Вильфора, казалось, хотел проникнуть в самое сердце старика.

— Мы уверены, госпожа де Вильфор и я, — продолжал королевский прокурор своим обычным ледяным тоном, не допускающим каких-либо возражений, — что вы сочувственно встретите это сообщение.

Взгляд старика был по-прежнему неподвижен; он просто слушал.

— Мы выдаем Валентину замуж, — продолжал Вильфор.

Восковая маска не могла бы остаться при этом известии более холодной, чем лицо старика.

— Свадьба состоится через три месяца, — продолжал Вильфор.

Глаза старика были все так же безжизненны.

Тут заговорила г-жа де Вильфор.

— Нам казалось, — поспешила она добавить, — что это известие должно вас заинтересовать; к тому же вы, по-видимому, всегда были привязаны к Валентине; нам остается только назвать вам имя молодого человека, который ей предназначен. Это одна из лучших партий, на которые Валентина могла бы рассчитывать; тот, кого мы ей назначаем и чье имя вам, вероятно, знакомо, хорошего рода и богат, а его образ жизни и вкусы служат для нее порукой счастья. Речь идет о Франце де Кенель, бароне д'Эпине.

Пока его жена произносила эту маленькую речь, Вильфор буквально впился взглядом в лицо старика. Едва г-жа де Вильфор произнесла имя Франца, как в глазах Нуартье, так хорошо знакомых его сыну, что-то дрогнуло, и между его век, раскрывшихся, словно губы, собирающиеся что-то сказать, сверкнула молния.

Королевский прокурор, знавший об открытой вражде, некогда существовавшей между его отцом и отцом Франца, понял эту вспышку и это волнение; но он сделал вид, будто ничего не заметил, и заговорил, продолжая речь своей жены:

— Вы отлично понимаете, сударь, как важно, чтобы Валентина, которой скоро минет девятнадцать лет, была наконец пристроена. Тем не менее, обсуждая это, мы не забыли и вас и заранее условились, что муж Валентины согласится если и не жить вместе с нами — это могло бы стеснить молодую чету, — то во всяком случае на то, чтобы вы жили вместе с ними; ведь Валентина вас очень любит, и вы, по-видимому,

отвечаете ей такой же любовью. Таким образом, ваша привычная жизнь ни в чем не изменится, и разница будет только в том, что за вами будут ухаживать двое детей вместо одного.

Сверкающие глаза Нуартье налились кровью.

Очевидно, в душе старика происходило что-то ужасное; очевидно, крик боли и гнева, не находя себе выхода, душил его, потому что лицо его побагровело и губы стали синими.

Вильфор спокойно отворил окно, говоря:

— Здесь очень душно, поэтому господину Нуартье трудно дышать.

Затем он вернулся на место, но остался стоять.

— Этот брак, — прибавила г-жа де Вильфор, — по душе господину д'Эпине и его родным; их, впрочем, только двое — дядя и тетка. Его мать умерла при его рождении, а отец был убит в тысяча восемьсот пятнадцатом году, когда ребенку было всего два года, так что он зависит только от себя.

— Загадочное убийство, — сказал Вильфор, — виновники которого остались неизвестны; подозрение витало над многими головами, но ни на кого не пало.

Нуартье сделал такое усилие, что губы его искривились, словно для улыбки.

— Впрочем, — продолжал Вильфор, — истинные виновники, те, кто знает, что именно они совершили преступление, те, кого при жизни может постигнуть человеческое правосудие, а после смерти правосудие небесное, были бы рады оказаться на нашем месте и иметь возможность предложить свою дочь Францу д'Эпине, чтобы устранить даже тень какого-либо подозрения.

Нуартье овладел собой усилием воли, которого трудно было бы ожидать от беспомощного паралитика.

— Да, я понимаю вас, — ответил его взгляд Вильфору; и в этом взгляде выразились одновременно глубокое презрение и гнев.

На этот взгляд, который он хорошо понял, Вильфор ответил легким пожатием плеч.

Затем он знаком предложил своей жене подняться.

— А теперь, — сказала г-жа де Вильфор, — позвольте нам откланяться. Угодно ли вам, чтобы Эдуард зашел поздороваться с вами?

Было условлено, что старик выражал свое согласие, закрывая глаза, отказ — миганием, а когда ему нужно было выразить какое-нибудь желание, он поднимал глаза к небу.

Если он желал видеть Валентину, он закрывал только правый глаз.

Если он звал Барруа, он закрывал левый.

Услышав предложение г-жи де Вильфор, он усиленно заморгал.

Госпожа де Вильфор, видя явный отказ, закусила губу.

— В таком случае я пришлю к вам Валентину, — сказала она.

— Да, — отвечал старик, быстро закрывая глаза.

Супруги де Вильфор поклонились и вышли, приказав позвать Валентину, уже, впрочем, предупрежденную, что она днем будет нужна деду.

Валентина, еще вся розовая от волнения, вошла к старику. Ей достаточно было одного взгляда, чтобы понять, как страдает ее дед и как он жаждет с ней говорить.

— Дедушка, — воскликнула она, — что случилось? Тебя расстроили, и ты сердишься?

— Да, — ответил он, закрывая глаза.

— На кого же? на моего отца? нет; на госпожу де Вильфор? нет; на меня?

Старик сделал знак, что да.

— На меня? — переспросила удивленная Валентина.

Старик сделал тот же знак.

— Что же я сделала, дедушка? — воскликнула Валентина.

Никакого ответа; она продолжала:

— Я сегодня не видела тебя; значит, тебе что-нибудь про меня сказали?

— Да, — поспешно ответил взгляд старика.

— Попробую отгадать, в чем дело. Боже мой, уверяю тебя, дедушка... Ах, вот что!.. Господин и госпожа де Вильфор только что были здесь, правда?

— Да.

— И это они сказали тебе то, что рассердило тебя? Что же это может быть? Хочешь, я пойду спрошу их, чтобы знать, за что мне просить у тебя прощения?

— Нет, нет, — ответил взгляд.

— Ты меня пугаешь! Что же они могли сказать?

И она задумалась.

— Я догадываюсь, — сказала она, понижая голос и подходя ближе к старику. — Может быть, они говорили о моем замужестве?

— Да, — ответил гневный взгляд.

— Понимаю, ты сердисься за то, что я молчала. Но, видишь ли, они мне строго-настрого запретили тебе об этом говорить; они и мне ничего не говорили, и я совершенно случайно узнала эту тайну; вот почему и не была откровенна с тобой. Прости, дедушка.

Взгляд, снова неподвижный и безучастный, казалось, говорил: «Меня огорчает не только твое молчание».

— В чем же дело? — спросила Валентина. — Или ты думаешь, что я покину тебя, дедушка, что, выходя замуж, я тебя забуду?

— Нет, — ответил старик.

— Значит, они сказали тебе, что господин д'Эпине согласен на то, чтобы мы жили вместе?

— Да.

— Так почему же ты сердисься?

В глазах старика появилось выражение бесконечной нежности.

— Да, я понимаю, — сказала Валентина, — потому, что ты меня любишь?

Старик сделал знак, что да.

— И ты боишься, что я буду несчастна?

— Да.

— Ты не любишь Франца?

Глаза несколько раз подряд ответили:

— Нет, нет, нет.

— Так тебе очень тяжело, дедушка?

— Да.

— Тогда слушай, — сказала Валентина, опускаясь на колени подле Нуартье и обнимая его обеими руками, — мне тоже очень тяжело, потому что я тоже не люблю Франца д'Эпине.

Луч радости мелькнул в глазах деда.

— Помнишь, как ты рассердился на меня, когда я хотела уйти в монастырь?

Под иссохшими веками старика показались слезы.

— Ну, так вот, — продолжала Валентина, — я хотела это сделать, чтобы избежать этого брака, который приводит меня в отчаяние.

Дыхание старика стало прерывистым.

— Так этот брак очень огорчает тебя, дедушка? Ах, если бы ты мог мне помочь, если бы мы вдвоем могли помешать их планам! Но ты бессилен против них, хотя у тебя такой

светлый ум и такая сильная воля; когда надо бороться, ты так же слаб, как и я, даже слабее. Когда ты был силен и здоров, ты мог бы меня защитить, а теперь ты можешь только понимать меня и радоваться или печалиться вместе со мной. Это последнее счастье, которое бог забыл отнять у меня.

При этих словах в глазах Нуартье появилось выражение такого глубокого лукавства, что девушке показалось, будто он говорит:

— Ты ошибаешься, я еще многое могу сделать для тебя.

— Ты можешь что-нибудь для меня сделать, дедушка? — выразила словами его мысль Валентина.

— Да.

Нуартье поднял глаза к небу. Это был условленный между ним и Валентиной знак, выражающий желание.

— Что ты хочешь, дедушка? Я постараюсь понять.

Валентина стала угадывать, высказывая вслух свои предположения, по мере того как они у нее возникали; но на все ее слова старик неизменно отвечал «нет».

— Ну, — сказала она, — прибегнем к решительным мерам, раз уж я так недогадлива!

И она стала называть подряд все буквы алфавита, от А до Н, с улыбочкой следя за глазами паралитика; когда она дошла до буквы Н, Нуартье сделал утвердительный знак.

— Так! — сказала Валентина. — То, чего ты хочешь, начинается с буквы Н; значит, мы имеем дело с Н? Ну-с, что же нам от него нужно, от этого Н? На, не, ни, но...

— Да, да, да, — ответил старик.

— Так это *но*?

— Да.

Валентина принесла словарь и, положив его перед Нуартье на пюпитр, раскрыла его; увидев, что взгляд старика сосредоточился на странице, она начала быстро скользить пальцем сверху вниз, по столбцам.

С тех пор как, шесть лет тому назад, Нуартье впал в то тяжелое состояние, в котором он теперь находился, она научилась легко справляться с этим делом и угадывала мысль старика так же быстро, как если бы он сам искал в словаре нужное ему слово.

На слове *нотариус* Нуартье сделал ей знак остановиться.

— *Нотариус*, — сказала она, — ты хочешь видеть нотариуса, дедушка?

Нуартье показал, что он действительно желает видеть нотариуса.

— Значит, надо послать за нотариусом? — спросила Валентина.

— Да, — показал старик.

— Надобно, чтобы об этом знал мой отец?

— Да.

— А спешно тебе нужен нотариус?

— Да.

— За ним сейчас пошлют. Это все, что тебе нужно?

— Да.

Валентина подбежала к звонку и вызвала лакея, чтобы пригласить к деду господина или госпожу де Вильфор.

— Ты доволен? — спросила Валентина. — Да... еще бы! Не так-то легко было догадаться!

И она улыбнулась деду, как улыбнулась бы ребенку.

В комнату вошел Вильфор, приведенный Барруа.

— Что вам угодно, сударь? — спросил он паралитика.

— Отец, — сказала Валентина, — дедушка хочет видеть нотариуса.

При этом странном, а главное — неожиданном требовании Вильфор обменялся взглядом с паралитиком.

— Да, — показал тот с твердостью, которая ясно говорила, что с помощью Валентины и своего старого слуги, осведомленного теперь о его желании, он готов на борьбу.

— Вы желаете видеть нотариуса? — повторил Вильфор.

— Да.

— Зачем?

Нуартье ничего не ответил.

— Но для чего вам нужен нотариус? — спросил Вильфор.

Взгляд старика оставался неподвижным, немым; это означало: «Я настаиваю на своем».

— Чтобы чем-нибудь досадить нам? — сказал Вильфор. — К чему это?

— Но, однако, — сказал Барруа, готовый с настойчивостью, присущей старым слугам, добиваться своего, — если мой господин желает видеть нотариуса, так, видно, он ему нужен. И я пойду за нотариусом.

Барруа не признавал иных хозяев, кроме Нуартье, и не допускал, чтобы в чем-нибудь противоречили его желаниям.

— Да, я желаю видеть нотариуса, — показал старик, закрывая глаза с таким вызывающим видом, словно он гово-

рил: «Посмотрим, осмелятся ли не исполнить моего желания».

— Если вы так настаиваете, нотариуса приведут, но мне придется извиниться перед ним за себя и за вас, потому что это будет смехотворно.

— Все равно, — сказал Барруа, — я схожу за ним.

И старый слуга удалился торжествуя.

II. ЗАВЕЩАНИЕ

Когда Барруа выходил из комнаты, Нуартье лукаво и многозначительно взглянул на внучку. Валентина поняла этот взгляд; понял его и Вильфор, потому что лицо его омрачилось и брови сдвинулись.

Он взял стул и, усевшись против паралитика, приготовился ждать.

Нуартье смотрел на него с полнейшим равнодушием, но уголком глаза он велел Валентине не беспокоиться и тоже оставаться в комнате.

Через три четверти часа Барруа вернулся вместе с нотариусом.

— Сударь, — сказал Вильфор, поздоровавшись с ним, — вас вызвал присутствующий здесь господин Нуартье де Вильфор; общий паралич лишил его движения и голоса, и только мы одни, и то с большим трудом, умудряемся понимать кое-какие обрывки его мыслей.

Нуартье обратил на Валентину свой взгляд, такой серьезный и властный, что она немедленно вступилась:

— Я, сударь, понимаю все, что хочет сказать мой дед.

— Это верно, — прибавил Барруа, — все, решительно все, как я уже сказал по дороге господину нотариусу.

— Разрешите, господа, сказать вам, — обратился нотариус к Вильфору и Валентине, — что это как раз один из тех случаев, когда должностное лицо не может действовать опрометчиво, не навлекая этим на себя тяжкой ответственности. Для того чтобы акт был законным, нотариус прежде всего должен быть убежден, что он в точности передал волю того, кто ему его диктует. Я же не могу быть уверен в согласии или несогласии клиента, лишённого дара речи; и так как предмет его желания или нежелания будет для меня не ясен ввиду его немоты, то мое участие совершенно бесполезно и было бы противозаконно.

Нотариус собирался удалиться. Еле уловимая торжествующая улыбка мелькнула на губах королевского прокурора.

Со своей стороны Нуартье взглянул на Валентину с таким горестным выражением, что она преградила нотариусу дорогу.

— Сударь, — сказала она, — тот язык, на котором я объясняюсь с моим дедом, настолько легко усвоить, что я в несколько минут могу вас научить так же хорошо понимать его, как понимаю сама. Скажите, что вам нужно для того, чтобы ваша совесть была совершенно спокойна?

— То, что необходимо для законности наших актов, — отвечал нотариус, — уверенность в согласии или несогласии. Завещатель может быть болен телом, но он должен быть здрав рассудком.

— Ну, так вот, сударь, два знака убедят вас в том, что рассудок моего деда никогда не был более здоровым, чем сейчас. Господин Нуартье, лишенный голоса, лишенный движения, закрывает глаза, когда хочет сказать «да», и мигает несколько раз, когда хочет сказать «нет». Теперь вы знаете достаточно, чтобы беседовать с ним; попробуйте же.

Взгляд, брошенный стариком на Валентину, был так полон любви и благодарности, что даже нотариус понял его.

— Вы слышали и поняли все, что сказала ваша внучка, сударь? — спросил нотариус.

Нуартье медленно закрыл глаза и через секунду снова открыл их.

— И вы подтверждаете то, что она сказала? То есть что названные ею знаки именно те, с помощью которых вы передаете другим вашу мысль?

— Да, — показал старик.

— Это вы меня пригласили?

— Да.

— Чтобы составить ваше завещание?

— Да.

— И вы не желаете, чтобы я ушел, не составив этого завещания?

Паралитик быстро заморгал глазами.

— Ну вот, сударь, теперь вы его понимаете? — спросила Валентина. — Ваша совесть может быть спокойна?

Но раньше, чем нотариус успел ответить, Вильфор отвел его в сторону.

— Сударь, — сказал он, — неужели вы считаете, что такое ужасное физическое потрясение, какое перенес господин

Нуартье де Вильфор, может не отразиться в сильной степени и на его умственных способностях?

— Меня беспокоит не столько это, — отвечал нотариус, — сколько то, каким образом мы будем угадывать его мысли, чтобы вызывать ответы?

— Вы же сами видите, что это невозможно, — сказал Вильфор.

Валентина и старик слышали этот разговор. Нуартье остановил пристальный и решительный взгляд на Валентине; этот взгляд явно требовал, чтобы она возразила.

— Не беспокойтесь об этом, сударь, — сказала она. — Как бы ни было трудно или, вернее, как бы вам ни казалось трудно понять мысль моего деда, я вам ее раскрою, так что у вас не останется никаких сомнений. Вот уже шесть лет, как я нахожусь около господина Нуартье, и пусть он сам вам скажет, был ли за эти шесть лет хоть один случай, чтобы какое-нибудь его желание осталось у него на сердце, оттого что я не могла его понять?

— Нет, — показал старик.

— Так попробуем, — сказал нотариус, — вы согласны на то, чтобы мадемуазель де Вильфор была вашим переводчиком?

Паралитик сделал знак, что да.

— Отлично! Итак, сударь, чего же вы от меня желаете и какой акт хотите совершить?

Валентина стала называть по порядку буквы алфавита. Когда они дошли до буквы З, красноречивый взгляд Нуартье остановил ее.

— Господину Нуартье нужна буква З, — сказал нотариус, — это ясно.

— Подождите, — сказала Валентина, потом обернулась к деду, — за...

Старик сразу же остановил ее.

Тогда Валентина взяла словарь и на глазах у внимательно наблюдавшего нотариуса стала перелистывать страницы.

— Завещание, — указал ее палец, остановленный взглядом Нуартье.

— Завещание! — воскликнул нотариус. — Это ясно. Господин Нуартье желает составить завещание.

— Да, — несколько раз показал Нуартье.

— Да, это удивительно, сударь, согласитесь сами, — сказал нотариус изумленному Вильфору.

— Действительно, — возразил тот, — и еще удивительнее было бы это завещание, потому что все же я сомневаюсь, чтобы его пункты, слово за словом, могли ложиться на бумагу без искусного подсказывания моей дочери. А Валентина, быть может, слишком заинтересована в этом завещании, чтобы быть подходящим истолкователем никому не ведомых желаний господина Нуартье де Вильфор.

— Нет, нет, нет! — показал паралитик.

— Как! — сказал Вильфор. — Валентина не заинтересована в вашем завещании?

— Нет, — показал Нуартье.

— Сударь, — сказал нотариус, который, в восторге от проделанного опыта, уже готовился рассказывать в обществе все подробности этого живописного эпизода, — сударь, то, что я сейчас только считал невозможным, кажется мне теперь совершенно легким; и это завещание будет просто-напросто тайным завещанием, то есть предусмотренным и разрешенным законом, если только оно оглашено в присутствии семи свидетелей, подтверждено при них завещателем и запечатано нотариусом опять-таки в их присутствии. Времени же оно потребует едва ли многим больше, чем обыкновенное завещание; прежде всего существуют узаконенные формы, всегда неизменные, а что касается подробностей, то их нам укажет главным образом само положение дел завещателя, а также вы, который их вели и знаете их. Впрочем, для того чтобы этот акт явился неоспоримым, мы придадим ему полнейшую достоверность; один из моих коллег послужит мне помощником и, в отступление от обычаев, будет присутствовать при его составлении. Удовлетворит ли это вас, сударь? — продолжал нотариус, обращаясь к старику.

— Да, — ответил Нуартье, радуясь, что его поняли.

«Что он задумал?» — недоумевал Вильфор, которого его высокое положение заставляло быть сдержанным и который все еще не мог понять, куда клонит его отец.

Он обернулся, чтобы послать за вторым нотариусом, которого назвал первый, но Барруа, все слышавший и догадавшийся о желании своего хозяина, успел уже выйти.

Тогда королевский прокурор распорядился пригласить наверх свою жену.

Через четверть часа все собрались в комнате паралитика, и прибыл второй нотариус.

Оба нотариуса быстро сговорились. Г-ну Нуартье прочи-

тали обычный текст завещания, затем, как бы для того, чтобы испытать его разум, первый нотариус, обратясь к нему, сказал:

— Когда пишут завещание, сударь, то это делают в чью-нибудь пользу.

— Да, — показал Нуартье.

— Имеете ли вы представление о том, как велико ваше состояние?

— Да.

— Я назову вам несколько цифр, постепенно возрастающих, вы меня остановите, когда я дойду до той, которую вы считаете правильной.

— Да.

В этом допросе было нечто торжественное; да и едва ли борьба разума с немощной плотью выступала когда-нибудь так наглядно, — это было зрелище если не возвышенное, как мы чуть было не сказали, то во всяком случае любопытное.

Все столпились вокруг Нуартье; второй нотариус уселся за стол и приготовился писать; первый нотариус стоял перед паралитиком и предлагал вопросы.

— Ваше состояние превышает триста тысяч франков, не так ли? — спросил он.

Нуартье сделал знак, что да.

— Оно составляет четыреста тысяч франков? — спросил нотариус.

Нуартье остался недвижим.

— Пятьсот тысяч франков?

Та же неподвижность.

— Шестьсот тысяч? семьсот тысяч? восемьсот тысяч? девятьсот тысяч?

Нуартье сделал знак, что да.

— Вы владеете девятьюстами тысячами франков?

— Да.

— В недвижимости? — спросил нотариус.

Нуартье сделал знак, что нет.

— В государственных процентных бумагах?

Нуартье сделал знак, что да.

— Эти бумаги у вас на руках?

При взгляде, брошенном на Барруа, старый слуга вышел из комнаты и через минуту вернулся, неся маленькую шкапулку.

— Разрешите ли вы открыть эту шкапулку?

Нуартье сделал знак, что да.

Шкатулку открыли и нашли в ней на девятьсот тысяч франков билетов государственного казначейства.

Первый нотариус передал билеты, один за другим, своему коллеге; они составляли сумму, указанную Нуартье.

— Все правильно, — сказал он, — вполне очевидно, что разум совершенно ясен и тверд.

Затем, обернувшись к паралитику, он спросил:

— Итак, вы обладаете капиталом в девятьсот тысяч франков, и он приносит вам благодаря бумагам, в которые вы его поместили, около сорока тысяч годового дохода?

— Да, — показал Нуартье.

— Кому вы желаете оставить это состояние?

— Здесь не может быть сомнений, — сказала г-жа де Вильфор. — Господин Нуартье любит только свою внучку, мадемуазель Валентину де Вильфор; она ухаживает за ним уже шесть лет; она своими неустанными заботами снискала любовь своего деда и, я бы сказала, его благодарность; поэтому будет вполне справедливо, если она получит награду за свою преданность.

Глаза Нуартье блеснули, показывая, что г-жа де Вильфор не обманула его, притворно одобряя приписываемые ему намерения.

— Так вы оставляете эти девятьсот тысяч франков мадемуазель Валентине де Вильфор? — спросил нотариус, считавший, что ему остается только вписать этот пункт, но желавший все-таки удостовериться в согласии Нуартье и дать в нем удостовериться всем свидетелям этой необыкновенной сцены.

Валентина отошла немного в сторону и плакала, опустив голову; старик взглянул на нее с выражением глубокой нежности; потом, глядя на нотариуса, самым выразительным образом замигал.

— Нет? — сказал нотариус. — Как, разве вы не мадемуазель Валентину де Вильфор назначаете вашей единственной наследницей?

Нуартье сделал знак, что нет.

— Вы не ошибаетесь? — воскликнул удивленный нотариус. — Вы действительно говорите нет?

— Нет! — повторил Нуартье. — Нет!

Валентина подняла голову; она была поражена не тем, что ее лишают наследства, но тем, что она могла вызвать то чувство, которое обычно внушает такие поступки.

Но Нуартье глядел на нее с такой глубокой нежностью, что она воскликнула:

— Я понимаю, дедушка, вы лишаете меня только своего состояния, но не своей любви?

— Да, конечно, — сказали глаза паралитика, так выразительно закрываясь, что Валентина не могла сомневаться.

— Спасибо, спасибо! — прошептала она.

Между тем этот отказ пробудил в сердце г-жи де Вильфор внезапную надежду, она подошла к старику.

— Значит, дорогой господин Нуартье, вы оставляете свое состояние вашему внуку Эдуарду де Вильфор? — спросила она.

Было что-то ужасное в том, как заморгал старик; его глаза выражали почти ненависть.

— Нет, — пояснил нотариус. — В таком случае — вашему сыну, здесь присутствующему?

— Нет, — возразил старик.

Оба нотариуса изумленно переглянулись; Вильфор и его жена покраснели: один от стыда, другая — от злобы.

— Но чем же мы провинились перед вами, дедушка? — сказала Валентина. — Вы нас больше не любите?

Взгляд старика бегло окинул Вильфора, потом его жену и с выражением глубокой нежности остановился на Валентине.

— Послушай, дедушка, — сказала она, — если ты меня любишь, то как же согласовать твою любовь с тем, что ты сейчас делаешь? Ты меня знаешь, ты знаешь, что я никогда не думала о твоих деньгах. К тому же говорят, что я получила большое состояние после моей матери, слишком даже большое. Объясни же, в чем дело?

Нуартье уставился горящим взглядом на руку Валентины.

— Моя рука? — спросила она.

— Да, — показал Нуартье.

— Ее рука! — повторили все присутствующие.

— Ах, господа, — сказал Вильфор, — вы же видите, что все это бесполезно и что мой бедный отец не в своем уме.

— Я понимаю! — воскликнула вдруг Валентина. — Мое замужество, дедушка, да?

— Да, да, да, — три раза повторил паралитик, сверкая гневным взором каждый раз, как он поднимал веки.

— Ты недоволен нами из-за моего замужества, да?

— Да.

— Но это нелепо! — сказал Вильфор.

— Простите, сударь, — сказал нотариус, — все это, напротив, весьма логично и, на мой взгляд, вполне вытекает одно из другого.

— Ты не хочешь, чтобы я вышла замуж за Франца д'Эпине?

— Нет, не хочу, — сказал взгляд старика.

— И вы лишаете вашу внучку наследства за то, что она выходит замуж вопреки вашему желанию? — воскликнул нотариус.

— Да, — ответил Нуартье.

— Так что, не будь этого брака, она была бы вашей наследницей?

— Да.

Вокруг старика воцарилось глубокое молчание.

Нотариусы совещались друг с другом; Валентина с благодарной улыбкой смотрела на деда; Вильфор кусал свои тонкие губы; его жена не могла подавить радость, помимо ее воли выразившуюся на ее лице.

— Но мне кажется, — сказал наконец Вильфор, первым прерывая молчание, — что я один призван судить, насколько нам подходит этот брак. Я один распоряжаюсь рукой моей дочери, я хочу, чтобы она вышла замуж за господина Франца д'Эпине, и она будет его женой.

Валентина, вся в слезах, опустила в кресло.

— Сударь, — сказал нотариус, обращаясь к старику, — как вы намерены распорядиться вашим состоянием в том случае, если мадемуазель Валентина выйдет замуж за господина д'Эпине?

Старик был недвижим.

— Однако вы намерены им распорядиться?

— Да, — показал Нуартье.

— В пользу кого-нибудь из вашей семьи?

— Нет.

— Так в пользу бедных?

— Да.

— Но вам известно, — сказал нотариус, — что закон не позволит вам совсем обделить вашего сына?

— Да.

— Так что вы распорядитесь только той частью, которой вы можете располагать по закону?

Нуартье остался недвижим.

— Вы продолжаете настаивать на том, чтобы распорядиться всем вашим состоянием?

— Да.

— Но после вашей смерти ваше завещание будет оспорено.

— Нет.

— Мой отец меня знает, сударь, — сказал Вильфор, — он знает, что его воля для меня священна; притом он понимает, что я в моем положении не могу судиться с бедными.

Во взгляде Нуартье светилось торжество.

— Как вы решите, сударь? — спросил нотариус Вильфора.

— Никак; мой отец так решил, а я знаю, что он не меняет своих решений. Мне остается только подчиниться. Эти девятьсот тысяч франков уйдут из семьи и обогатят приюты; но я не исполню каприза старика и поступлю согласно своей совести.

И Вильфор удалился в сопровождении жены, предоставляя отцу изъяслять свою волю, как ему угодно.

В тот же день завещание было составлено; привели свидетелей, оно было прочитано и одобрено стариком, запечатано при всех и отдано на хранение г-ну Дешан, нотариусу семьи Вильфор.

III. ТЕЛЕГРАФ

Вернувшись к себе, супруги Вильфор узнали, что в гостинной их ждет приехавший с визитом граф Монте-Кристо; г-жа де Вильфор, слишком взволнованная, чтобы сразу выйти к нему, прошла к себе в спальню; королевский прокурор, более в себе уверенный, прямо направился в гостиную. Но как он ни умел держать себя в руках, как ни владел выражением своего лица, он не был в силах скрыть свою мрачность, и граф, на губах которого сияла лучезарная улыбка, обратил внимание на его озабоченный и угрюмый вид.

— Что с вами, господин де Вильфор? — спросил он после первых приветствий. — Быть может, я явился как раз в ту минуту, когда вы писали какой-нибудь нешуточный обвинительный акт?

Вильфор попытался улыбнуться.

— Нет, граф, — сказал он, — в данном случае жертва — я сам. Это я проиграл дело, а над обвинительным актом работали случай, упрямство и безумие.

— Что вы хотите сказать? — спросил Монте-Кристо с прекрасно разыгранным участием. — У вас в самом деле серьезные неприятности?

— Не стоит и говорить, граф, — сказал Вильфор с пол-

ным горечи спокойствием, — пустяки, просто денежная потеря.

— Да, конечно, — ответил Монте-Кристо, — денежная потеря — пустяки, если обладать таким состоянием, как ваше, и таким философским и возвышенным умом, как ваш!

— Поэтому, — ответил Вильфор, — я и озабочен не из-за денег, хотя как-никак девятьсот тысяч франков стоят того, чтобы о них пожалеть или, во всяком случае, чтобы подосадовать. Меня огорчает больше всего эта игра судьбы, случая, предопределения, не знаю, как назвать ту силу, что обрушила на меня этот удар, уничтожила мои надежды на богатство и, быть может, разрушила будущность моей дочери из-за каприза впавшего в детство старика.

— Да что вы! Как же так? — воскликнул граф. — Девятьсот тысяч франков, вы говорите? Вы правы, эта сумма стоит того, чтобы о ней пожалел даже философ, но кто же вам доставил такое огорчение?

— Мой отец, о котором я вам рассказывал.

— Господин Нуартье? Неужели? Но вы мне говорили, насколько я помню, что он совершенно парализован и утратил все свои способности?

— Да, физические способности, потому что он не в состоянии двигаться, не в состоянии говорить, и, несмотря на это, он мыслит, он желает, он действует, как видите. Я ушел от него пять минут тому назад; он сейчас занят тем, что диктует двум нотариусам свое завещание.

— Так, значит, он заговорил?

— Нет, но заставил себя понять.

— Каким образом?

— Взглядом; его глаза продолжают жить и, как видите, убивают.

— Мой друг, — сказала г-жа де Вильфор, входя в комнату, — мне кажется, вы преувеличиваете.

— Сударыня... — приветствовал ее с поклоном граф.

Госпожа де Вильфор ответила самой очаровательной улыбкой.

— Но что я слышу от господина де Вильфор? — спросил Монте-Кристо. — Что за непонятная немилость?..

— Непонятная, вот именно! — сказал королевский прокурор, пожимая плечами. — Старческий каприз!

— А разве нет способа заставить его изменить решение?

— Нет, есть, — сказала г-жа де Вильфор, — и только от

моего мужа зависит, чтобы это завешание было составлено не в ущерб Валентине, а, наоборот, в ее пользу.

Граф, видя, что супруги начали говорить загадками, принял рассеянный вид и стал с глубочайшим вниманием и явным одобрением следить за Эдуардом, подливавшим чернила в птичье корытце.

— Дорогая моя, — возразил Вильфор жене, — вы знаете, что я не склонен разыгрывать у себя в доме патриарха и никогда не воображал, будто судьбы мира зависят от моего мановения. Но все же необходимо, чтобы моя семья считалась с моими решениями и чтобы безумие старика и капризы ребенка не разрушали давно обдуманых мною планов. Барон д'Эпине был моим другом, вы это знаете, и его сын был бы для нашей дочери наилучшим мужем.

— Так, по-вашему, — сказала г-жа де Вильфор, — Валентина с ним сговорилась?.. В самом деле... она всегда противилась этому браку, и я не удивлюсь, если все, что мы сейчас видели и слышали, окажется просто выполнением заранее составленного ими плана.

— Поверьте, — сказал Вильфор, — что так не отказываются от капитала в девятьсот тысяч франков.

— Она отказалась бы и от мира, ведь она год тому назад собиралась уйти в монастырь.

— Все равно, — возразил Вильфор, — говорю вам, этот брак состоится!

— Вопреки воле вашего отца? — сказала г-жа де Вильфор, пробуя играть на другой струне. — Это не шутка!

Монте-Кристо делал вид, что не слушает, но не пропускал ни одного слова из этого разговора.

— Сударыня, — возразил Вильфор, — я должен сказать, что всегда почитал своего отца, потому что естественное сыновнее чувство соединялось у меня с сознанием его нравственного превосходства; наконец, потому, что отец для нас вдвойне священен: как наш создатель и как наш господин; но не могу же я считать теперь разумным старика, который, в память своей ненависти к отцу, ненавидит сына; с моей стороны было бы смешно согласовать свое поведение с его капризами. Я не перестану относиться с глубочайшим почтением к господину Нуартье, я безропотно подчинюсь наложенной им на меня денежной каре, но решение мое останется непреклонным, и общество рассудит, на чьей стороне был здравый смысл. Я выдам замуж мою дочь за барона Франца

д'Эпине, так как считаю, что это хороший и почетный брак, и так как в конечном счете я хочу выдать свою дочь за того, кто мне подходит.

— Вот как, — сказал граф, у которого королевский прокурор то и дело взглядом просил одобрения, — вот как! Господин Нуартье, по вашим словам, лишает мадемуазель Валентину наследства за то, что она выходит замуж за барона Франца д'Эпине?

— Вот именно в этом вся причина, — сказал Вильфор, пожимая плечами.

— Во всяком случае видимая причина, — прибавила г-жа де Вильфор.

— Действительная причина, сударыня. Поверьте, я знаю своего отца.

— Можете вы это понять? — спросила молодая женщина. — Чем, скажите пожалуйста, господин д'Эпине хуже всякого другого?

— В самом деле, — сказал граф, — я встречал господина Франца д'Эпине; это ведь сын генерала де Кенель, впоследствии барона д'Эпине?

— Совершенно верно, — ответил Вильфор.

— Он показался мне очаровательным молодым человеком.

— Поэтому я и уверена, что это только предлог, — сказала г-жа де Вильфор. — Старики становятся тиранами в отношении тех, кого они любят; господин Нуартье просто не желает, чтобы его внучка выходила замуж.

— Но, может быть, у этой ненависти есть какая-нибудь причина? — спросил Монте-Кристо.

— Бог мой, откуда же это можно знать?

— Может быть, политическая антипатия?

— Действительно, мой отец и отец господина д'Эпине жили в бурное время; я видел лишь последние дни его, — сказал Вильфор.

— Ваш отец, кажется, был бонапартист? — спросил Монте-Кристо. — Мне помнится, вы говорили что-то в этом роде.

— Мой отец был прежде всего якобинец, — возразил Вильфор, забыв в своем волнении о всякой осторожности, — и тога сенатора, накинутая на его плечи Наполеоном, изменила лишь его наряд, но не его самого. Когда мой отец участвовал в заговорах, он делал это не из любви к императору, а из ненависти к Бурбонам; самое страшное в нем было то, что

он никогда не сражался за неосуществимые утопии, а всегда лишь за действительно возможное, и при этом следовал ужасной теории монтаньяров, которые не останавливались ни перед чем, чтобы достигнуть своей цели.

— Ну, вот видите, — сказал Монте-Кристо, — в этом все дело. Нуартье и д'Эпине столкнулись на политической почве. Хотя генерал д'Эпине и служил в войсках Наполеона, но он в душе был роялистом, правда? Ведь это тот самый, что был убит однажды ночью, при выходе из бонапартистского клуба, куда его завлекли в надежде найти в нем собрата?

Вильфор почти с ужасом взглянул на графа.

— Я ошибаюсь? — спросил Монте-Кристо.

— Напротив, — сказала г-жа де Вильфор, — это так и есть; и именно поэтому мой муж, желая изгладить всякое воспоминание о бывшей вражде, решил соединить любовью двух детей, отцы которых ненавидели друг друга.

— Превосходная мысль! — сказал Монте-Кристо. — Мысль, исполненная милосердия; свет должен рукоплескать ей. В самом деле, было бы прекрасно, если бы мадемуазель Нуартье де Вильфор стала называться госпожой Франц д'Эпине.

Вильфор вздрогнул и посмотрел на Монте-Кристо, как бы желая прочесть в глубине его сердца намерение, которое продиктовало ему эти слова.

Но на губах графа играла обычная приветливая улыбка; и на этот раз королевский прокурор, несмотря на всю свою проницательность, опять не увидел ничего, кроме оболочки.

— Поэтому, — продолжал Вильфор, — хотя утрата состояния деда и большое несчастье для Валентины, я все-таки не думаю, чтобы это могло расстроить ее брак. Я не думаю, чтобы господина д'Эпине могла смутить эта денежная потеря; он увидит, что я, пожалуй, стою больше этой суммы, я, жертвующий ею ради того, чтобы сдержать свое слово; он примет также в расчет, что Валентина и без того унаследовала после матери большое состояние; оно находится в распоряжении маркиза и маркизы де Сен-Меран, ее деда и бабки с материнской стороны, а они оба ее нежно любят.

— И они заслуживают того, чтобы их любили и за ними ухаживали так же, как это делает Валентина по отношению к господину Нуартье, — сказала г-жа де Вильфор. — Впрочем, не позже чем через месяц они придут в Париж, и Валентине

после такого оскорбления не к чему будет вечно сидеть с Нуартье, как она сидела до сих пор.

Граф благосклонно внимал нестройным голосам оскорбленного самолюбия и обманутой корысти.

— Я заранее прошу вас простить мне то, что я скажу, — заметил Монте-Кристо после краткого молчания, — но мне кажется, что если господин Нуартье и лишает наследства мадемуазель де Вильфор, виновную в том, что она хочет выйти замуж за человека, отца которого он ненавидел, то он не может сделать подобного упрека нашему милому Эдуарду.

— Ведь правда, граф? — воскликнула г-жа де Вильфор с непередаваемым выражением. — Правда, это несправедливо, чудовищно несправедливо? Бедный Эдуард такой же внук господина Нуартье, как и Валентина, а между тем, если бы она не выходила замуж за Франца д'Эпине, Нуартье оставил бы ей все свое состояние. Наконец, Эдуард — носитель родового имени, и все же Валентина, даже если дед лишит ее наследства, окажется втрое богаче, чем он.

Монте-Кристо не произносил ни слова и только внимательно слушал.

— Знаете, граф, — сказал Вильфор, — не будем больше говорить об этих семейных неурядицах. Да, правда, мое состояние пойдет на увеличение доходов бедных, а в наше время они-то и являются настоящими богачами. Да, мой отец лишил меня законных надежд, и притом без всякой моей вины; но я поступлю, как человек здравомыслящий, как человек благородный. Я обещал господину д'Эпине доходы с этого капитала — и он их получит, даже если мне ради этого придется пойти на самые тяжкие лишения.

— А все-таки, — возразила г-жа де Вильфор, неотступно возвращаясь к преследовавшей ее мысли, — может быть, лучше посвятить д'Эпине в эту неприятную историю, чтобы он сам возвратил данное ему слово?

— Это было бы большим несчастьем! — воскликнул Вильфор.

— Большим несчастьем? — переспросил Монте-Кристо.

— Разумеется, — сказал несколько спокойнее Вильфор, — расстроившийся, даже из-за денежных недоразумений, брак бросает тень на невесту; кроме того, всякие старые слухи, которым я хотел положить конец, возникнут снова. Но нет, этого не будет. Господин д'Эпине, если он честный человек, сочтет себя еще более связанным тем, что Валентина

лишена наследства, иначе вышло бы, что им руководила только алчность; нет, этого не может быть.

— Я думаю так же, — сказал Монте-Кристо, пристально глядя на г-жу Вильфор, — будь я настолько другом господина де Вильфор, чтобы иметь право давать советы, я сказал бы: так как Франц д'Эпине должен, по-видимому, скоро вернуться, надо повести это дело так, чтобы оно уже не могло расстроиться; словом, я бы начал борьбу, которая может окончиться только к чести господина де Вильфор.

Этот последний встал, видимо очень обрадованный; жена его слегка побледнела.

— Отлично, — сказал Вильфор, — именно это я хотел услышать, и я воспользуюсь вашим советом, — добавил он, подавая руку Монте-Кристо. — Итак, прошу всех в этом доме считать, что то, что здесь произошло сегодня, не имеет никакого значения: наши планы остаются неизменными.

— Сударь, — сказал граф, — смею вас уверить, что как бы ни был несправедлив свет, он оцепит вашу решимость; ваши друзья будут гордиться вами, а господин д'Эпине, даже если бы ему пришлось взять мадемуазель де Вильфор без всякого приданого, хотя это и не так, будет счастлив вступить в семью, где умеют подняться до такого самопожертвования, чтобы сдержать свое слово и исполнить свой долг.

С этими словами граф встал и собрался уходить.

— Вы нас покидаете, граф? — сказала г-жа де Вильфор.

— Я принужден это сделать, сударыня, я заехал только напомнить вам ваше обещание быть у меня в субботу.

— Неужели вы могли думать, что мы забудем?

— Вы слишком добры, сударыня, господин де Вильфор занят такими важными и подчас неотложными делами...

— Мой муж дал слово, граф, — сказала г-жа де Вильфор, — а вы могли убедиться, что он верен ему даже в том случае, когда он многое теряет от этого, здесь же он может быть только в выигрыше.

— Обед состоится в вашем доме на Елисейских Полях? — спросил Вильфор.

— Нет, — отвечал Монте-Кристо, — тем ценнее ваша самоотверженность: это будет за городом.

— За городом?

— Да.

— Где же? В окрестностях Парижа?

— У самых ворот, полчаса езды от заставы: в Отейле.

— В Отейле! — воскликнул Вильфор. — Да, правда, жена говорила мне, что вы живете в Отейле, ей ведь оказали помощь в вашем доме. А в каком месте Отейля?

— На улице Фонтен.

— На улице Фонтен? — продолжал Вильфор сдавленным голосом. — Какой номер?

— Двадцать восемь.

— Так это вам продали дом маркиза де Сен-Меран? — воскликнул Вильфор.

— Маркиза де Сен-Меран? — спросил Монте-Кристо. — Разве этот дом принадлежал маркизу де Сен-Меран?

— Да, — отвечала г-жа де Вильфор, — и можете себе представить, граф, какая странность...

— Что именно?

— Вы согласны, что это прелестный дом, не правда ли?

— Очаровательный.

— А мой муж никогда не соглашался поселиться в нем.

— Право, сударь, — сказал Монте-Кристо, — это предубеждение, которого я не могу понять.

— Я не люблю Отейля, — с усилием ответил королевский прокурор.

— Но, надеюсь, я не буду столь несчастлив, — с беспокойством сказал Монте-Кристо, — чтобы эта антипатия лишила меня удовольствия видеть вас у себя.

— Нет, граф... я надеюсь... поверьте, я сделаю все возможное, — пробормотал Вильфор.

— Нет, я не принимаю никаких отговорок, — отвечал Монте-Кристо. — В субботу, в шесть часов, я жду вас, и если вы не приедете, то, знаете, я могу подумать... что с этим домом, уже двадцать лет необитаемым, связано нечто зловещее, какая-нибудь кровавая легенда.

— Я приеду, граф, приеду, — поспешно заявил Вильфор.

— Благодарю вас, — сказал Монте-Кристо. — А теперь разрешите откланяться.

— В самом деле, граф, вы сказали, что принуждены покинуть нас, — сказала г-жа де Вильфор, — и даже как будто собирались сказать, почему именно, но как раз заговорили о другом.

— Право, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — я боюсь сознаться вам, куда я еду.

— Все равно, скажите.

— Я, как настоящий ротозей, собираюсь поехать посмотреть на одну вещь, о которой я нередко мечтал целыми часами.

— Что же это такое?

— Телеграф.

— Телеграф? — повторила г-жа де Вильфор.

— Да, телеграф. Мне иногда приходилось, в яркий день, видеть на краю дороги, на пригорке, эти вздымающиеся кверху черные суставчатые руки, похожие на лапы огромного жука, и, уверяю вас, я всегда глядел на них с волнением. Я думал о том, что эти странные знаки, так четко рассекающие воздух и передающие за триста лье неведомую волю человека, сидящего за столом, другому человеку, сидящему в конце линии за другим столом, вырисовываются на серых тучах или голубом небе только силою желания этого всемогущего властелина; и я думал о духах, сильфах, гномах — словом, о тайных силах, — и смеялся. Но у меня никогда не являлось желания поближе рассмотреть этих огромных насекомых с белым брюшком и тощими черными лапами, потому что я боялся найти под их каменными крыльями маленькое человеческое существо, очень важное, очень педантичное, напичканное науками, каббалистикой или колдовством. Но в одно прекрасное утро я узнал, что всяким телеграфом управляет несчастный служака, получающий в год тысячу двести франков и созерцающий целый день не небо, как астроном, не воду, как рыболов, не пейзаж, как праздный гуляка, а такое же насекомое с белым брюшком и черными лапами, своего корреспондента, находящегося за четыре или пять лье от него. Тогда мне стало любопытно посмотреть вблизи на эту живую куколку, на то, как она из глубины своего кокона играет с соседней куколкой, дергая одну веревочку за другой.

— И вы едете туда?

— Я еду туда.

— На какой телеграф? Министерства внутренних дел или Обсерватории?

— Ни в коем случае; там я встречу людей, которые пожелают растолковать мне то, чего я не хочу знать, и станут насильно объяснять мне тайну, которой сами не понимают. Черт возьми, я хочу сохранить свои иллюзии относительно насекомых; достаточно того, что я утратил иллюзии относительно людей. Так что я не поеду ни на телеграф министерства внутренних дел, ни на телеграф Обсерватории. Мне нужен телеграф на вольном воздухе, чтобы увидеть без прикрас бедного малого, окаменевшего в своей башенке.

— Хотя вы и знатный вельможа, но очень странный человек, — сказал Вильфор.

— Какую линию вы посоветуете мне осмотреть?

— Ту, где сейчас идет самая усиленная работа.

— Отлично. Значит, испанскую?

— Конечно. Хотите письмо от министра, чтобы вам объяснили...

— Нет, нет, — сказал Монте-Кристо, — наоборот, я же говорю, что ничего не хочу понимать. С той минуты, как я что-нибудь пойму, телеграф перестанет существовать для меня и останется только знак, посланный господином Дюшателем или господином де Монталиве и переданный байоннскому префекту в виде двух греческих слов: τῆλε, γραφή. А я хочу оставить во всей их чистоте насекомое с черными лапами и страшное слово и сохранить все мое к ним почтение.

— Так поезжайте, потому что через два часа совсем стемнеет, и вы ничего не увидите.

— Вы меня пугаете! Который из них всего ближе?

— На дороге в Байонну?

— Да, хотя бы на дороге в Байонну.

— Шатильонский.

— А после Шатильонского?

— Кажется, на башне Монлери.

— Благодарю вас, до свидания! В субботу я расскажу вам о своих впечатлениях.

В дверях граф столкнулся с нотариусами, которые только что лишили Валентину наследства и уходили, очень довольные тем, что составили акт, делающий им немалую честь.

IV. СПОСОБ ИЗБАВИТЬ САДОВОДА ОТ СОНЬ, ПОЕДАЮЩИХ ЕГО ПЕРСИКИ

Не в тот же вечер, как он говорил, а на следующее утро граф Монте-Кристо выехал через заставу Анфер, направился по Орлеанской дороге, миновал деревню Линá, не останавливаясь около телеграфа, который, как раз в то время, когда граф проезжал мимо, двигал своими длинными, тощими руками, и доехал до башни Монлери, расположенной, как всем известно, на самой возвышенной точке одноименной долины.

У подножия холма граф вышел из экипажа и по узенькой круговой тропинке, шириной в полтора фута, начал подниматься в гору; дойдя до вершины, он оказался перед изгоро-

дью, на которой уже зеленели плоды, сменившие розовые и белые цветы.

Монте-Кристо принялся искать калитку и не замедлил ее найти. Это была деревянная решетка, привешенная на ивовых петлях и запирающаяся посредством гвоздя и веревки. Граф тотчас же освоился с этим механизмом, и калитка отворилась.

Граф очутился в маленьком садике в двадцать шагов длиной и двенадцать шириной; с одной стороны он был окаймлен той частью изгороди, в которой было устроено остроумное приспособление, описанное нами под названием калитки, а с другой примыкал к старой башне, обвитой плющом и усеянной желтыми левкоями и гвоздиками.

Никто бы не сказал, что эта башня, вся в морщинах и цветах, словно бабушка, которую пришли поздравить внуки, могла бы поведать немало ужасных драм, если бы у нее нашелся и голос в придачу к тем грозным ушам, которые старая пословица приписывает стенам.

Через садик можно было пройти по дорожке, посыпанной красным песком и окаймленной бордюром из многолетнего толстого букса, чьи оттенки привели бы в восхищение взор Делакруа, нашего современного Рубенса. Дорожка эта имела вид восьмерки и заворачивала, переплетаясь, так что на пространстве двадцати шагов можно было сделать прогулку в целых шестьдесят. Никогда еще Флоре, веселой и юной богине добрых латинских садовников, не служили так старательно и так чистосердечно, как в этом маленьком садике.

В самом деле, на двадцати розовых кустах, составлявших цветник, не было ни одного листочка со следами мушки, ни одной жилки, обезображенной зеленой тлей, которая опустошает и пожирает растения на сырой почве. А между тем в саду было достаточно сыро; об этом говорили черная, как сажа, земля и густая листва деревьев. Впрочем, естественную влажность быстро заменила бы искусственная, благодаря вырытой в углу сада бочке со стоячей водой, где на зеленой ряске неизменно пребывали лягушка и жаба, которые, вероятно, из-за несоответствия характеров, постоянно сидели друг к другу спиной на противоположных сторонах круга.

При всем том на дорожках не было ни травинки, на клумбах ни одного сорного побега; ни одна модница не холит и не подрезает так тщательно герани, кактусы и рододендроны в

своей фарфоровой жардиньерке, как это делал хозяин садика, пока еще незримый.

Закрыв за собой калитку и зацепив веревку за гвоздь, Монте-Кристо остановился и окинул взглядом все это владение.

— По-видимому, — сказал он, — телеграфист держит садовников или сам страстный садовод.

Вдруг он наткнулся на что-то, притаившееся за тачкой, наполненной листьями; это что-то с удивленным восклицанием выпрямилось, и Монте-Кристо очутился лицом к лицу с человечком лет пятидесяти; человечек был занят собиранием земляники, которую он раскладывал на виноградных листьях.

У него было двенадцать виноградных листьев и почти столько же ягод земляники.

Поднимаясь, старичок едва не уронил ягоды, листья и тарелку.

— Собираете урожай? — сказал, улыбаясь, Монте-Кристо.

— Простите, сударь, — ответил старичок, поднося руку к фуражке, — я, правда, не наверху, но я только что сошел оттуда.

— Не беспокойтесь из-за меня, мой друг, — сказал граф, — собирайте ваши ягоды, если это еще не все.

— Осталось еще десять, — сказал старичок, — видите, вот одиннадцать, а у меня их двадцать одна, на пять больше, чем в прошлом году. И не удивительно, весна в этом году стояла теплая, а землянике, сударь, если что нужно, так это солнце. Вот почему вместо шестнадцати, которые были в прошлом году, у меня теперь, как видите, одиннадцать уже сорванных, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать... Боже мой, двух не хватает! Они еще вчера были, сударь, они были здесь, я в этом уверен, я их пересчитал. Это, наверное, сынишка тетки Симон напроказничал; я видел, как он шнырял здесь сегодня утром! Маленький негодяй, красть в саду! Видно, он не знает, чем это может кончиться!

— Да, это не шутка, — сказал Монте-Кристо. — Но надо принять во внимание молодость преступника и его желание полакомиться.

— Разумеется, — отвечал садовод, — но от этого не легче. Однако еще раз прошу вас извинить меня, сударь; может быть, я заставляю ждать начальника?

И он боязливо разглядывал графа и его синий фрак.

— Успокойтесь, мой друг, — сказал граф, со своей улыбкой, которая, по его желанию, могла быть такой страшной и такой доброжелательной и которая на этот раз выражала одну только доброжелательность, — я совсем не начальник, явившийся вас ревизовать, а просто путешественник; меня привлекло сюда любопытство, и я начинаю даже сожалеть о своем приходе, так как вижу, что отнимаю у вас время.

— Мое время недорого стоит, — возразил, грустно улыбаясь, старичок. — Правда, оно казенное, и мне не следовало бы его расточать; но мне дали знать, что я могу отдохнуть час (он взглянул на солнечные часы, ибо в садике при монлерийской башне имелось все что угодно, даже солнечные часы), видите, у меня осталось еще десять минут, а земляника моя поспела, и еще один день... К тому же, сударь, поверите ли, у меня ее поедают сони.

— Вот чего бы я никогда не подумал, — серьезно отвечал Монте-Кристо, — сони — неприятные соседи, раз уж мы не едим их в меду, как это делали римляне.

— Вот как? Римляне их ели? — спросил садовод. — Ели сонь?

— Я читал об этом у Петрония, — ответил граф.

— Неужели? Не думаю, чтобы это было вкусно, хоть и говорят: жирный, как соня. Да и не удивительно, что они жирные, раз они спят весь божий день и просыпаются только для того, чтобы грызть всю ночь. Знаете, в прошлом году у меня было четыре абрикоса; один они испортили. Созрел у меня и гладкокожий персик, единственный, правда, — это большая редкость, — ну так вот, сударь, они у него сожрали бок, повернутый к стене; чудный персик, удивительно вкусный! Я никогда такого не ел.

— Вы его съели? — спросил Монте-Кристо.

— То есть оставшуюся половину, понятно. Это было восхитительно. Да, эти господа умеют выбирать лакомые куски. Совсем как сынишка тетки Симон; он уж, конечно, выбрал не самые плохие ягоды! Но в этом году, — продолжал садовод, — будьте спокойны, такого не случится, хотя бы мне пришлось караулить всю ночь, когда плоды начнут созревать.

Монте-Кристо услышал достаточно. У каждого человека есть своя страсть, грызущая ему сердце, как у каждого плода есть свой червь; страстью телеграфиста было садоводство.

Монте-Кристо начал обрывать виноградные листья, заслонявшие солнце, и этим покорил сердце садовода.

— Вы пришли посмотреть на телеграф, сударь? — спросил он.

— Да, если, конечно, это не запрещено вашими правилами.

— Отнюдь не запрещено, — отвечал садовод, — ведь в этом нет никакой опасности: никто не знает и не может знать, что мы передаем.

— Мне действительно говорили, — сказал граф, — что вы повторяете сигналы, которых сами не понимаете.

— Разумеется, сударь, и я этим очень доволен, — сказал, смеясь, телеграфист.

— Почему же?

— Потому что таким образом я не несу никакой ответственности. Я машина, и только, и раз я действую, то с меня ничего больше не спрашивают.

«Черт побери, — подумал Монте-Кристо, — неужели я натолкнулся на человека, который ни к чему не стремится? Тогда мне не повезло».

— Сударь, — сказал садовод, бросив взгляд на свои солнечные часы, — мои десять минут подходят к концу, и я должен вернуться на место. Не желаете ли подняться вместе со мной?

— Я следую за вами.

И Монте-Кристо вошел в башню, разделенную на три этажа; в нижнем находились кое-какие земледельческие орудия — заступы, грабли, лейки, стоявшие у стен, — это было его единственное убранство.

Второй этаж представлял обычное или, вернее, ночное жилье служащего; тут находилась скудная домашняя утварь, кровать, стол, два стула, каменный рукомойник да пучки сухих трав, подвешенные к потолку; граф узнал душистый горошек и испанские бобы, чьи зерна старичок сохранял вместе со стручками; все это он, с усердием ученого ботаника, снабдил соответствующими ярлычками.

— Скажите, сударь, много ли времени требуется, чтобы изучить телеграфное дело? — спросил Монте-Кристо.

— Долго тянется не обучение, а сверхштатная служба.

— А сколько вы получаете жалованья?

— Тысячу франков, сударь.

— Маловато.

— Да, но, как видите, дают квартиру.

Монте-Кристо окинул взглядом комнату.

— Не хватает только, чтобы он дорожил своим помещением, — пробормотал он.

Поднялись в третий этаж, — тут и помещался телеграф. Монте-Кристо рассмотрел обе железные ручки, с помощью которых чиновник приводил в движение машину.

— Это чрезвычайно интересно, — сказал Монте-Кристо, — но в конце концов такая жизнь должна вам казаться скучноватой?

— Вначале, оттого что все время приглядываешься, сводит шею; но через год-другой привыкаешь; а потом ведь у нас бывают часы отдыха и свободные дни.

— Свободные дни?

— Да.

— Какие же?

— Когда туман.

— Да, верно.

— Это мои праздники; в такие дни я спускаюсь в сад и сажаю, подрезаю, подстригаю, обираю гусениц; в общем, время проходит незаметно.

— Давно вы здесь?

— Десять лет да пять лет сверхштатной службы, так что всего пятнадцать.

— А от роду вам...

— Пятьдесят пять.

— Сколько лет надо прослужить, чтобы получить пенсию?

— Ах, сударь, двадцать пять лет.

— А как велика пенсия?

— Сто экю.

— Бедное человечество! — пробормотал Монте-Кристо.

— Что вы сказали, сударь? — спросил чиновник.

— Я говорю, что все это чрезвычайно интересно.

— Что именно?

— Все, что вы мне показываете... И вы совсем ничего не понимаете в ваших сигналах?

— Совсем ничего.

— И никогда не пытались понять?

— Никогда; зачем мне это?

— Но ведь есть сигналы, относящиеся именно к вам?

— Разумеется.

— Их вы понимаете?

— Они всегда одни и те же.

— И они гласят?..

— «Ничего нового»... «У вас свободный час»... или: «До завтра»...

— Да, это сигналы невинные, — сказал граф. — Но посмотрите, кажется, ваш корреспондент приходит в движение?

— Да, верно; благодарю вас, сударь.

— Что же он вам говорит? Что-нибудь, что вы понимаете?

— Да, он спрашивает, готов ли я.

— И вы отвечаете?..

— Сигналом, который указывает моему корреспонденту справа, что я готов, и в то же время предлагает корреспонденту слева в свою очередь приготовиться.

— Остроумно сделано, — сказал граф.

— Вот вы сейчас увидите, — с гордостью продолжал старичок, — через пять минут он начнет говорить.

— Значит, у меня в распоряжении целых пять минут, — заметил Монте-Кристо, — это больше, чем мне нужно. Дорогой мой, — сказал он, — разрешите задать вам один вопрос?

— Пожалуйста.

— Вы любите садоводство?

— Страстно.

— И вам было бы приятно иметь сад и две десятины вместо площади в двадцать футов?

— Сударь, я обратил бы его в земной рай.

— Вам плохо живется на тысячу франков?

— Довольно плохо, но как-никак я справляюсь.

— Да, но садик у вас жалкий.

— Вот это верно, садик невелик.

— И к тому же населен сонями, которые все пожирают.

— Да, это мой бич.

— Скажите, что, если бы, на вашу беду, вы отвернулись в ту минуту, когда задвигается ваш корреспондент справа?

— Я бы не видел его сигналов.

— И что случилось бы?

— Я не мог бы их повторить.

— И тогда?

— Тогда меня оштрафовали бы за то, что я по небрежности не повторил их.

— На сколько?

— На сто франков.

— На десятую часть годового жалованья; недурно!

— Что поделаешь! — сказал чиновник.

— Это с вами случилось? — спросил Монте-Кристо.

— Однажды случилось, сударь, когда я делал прививку на кусте желтых роз.

— Ну а если бы вам вздумалось что-нибудь переменить в сигналах или передать другие?

— Тогда другое дело; тогда меня сместили бы и я лишился бы пенсии.

— В триста франков?

— Да, сударь, в сто эю; так что, вы понимаете, я никогда не сделаю ничего подобного.

— Даже за сумму, равную вашему пятнадцатилетнему жалованью? Ведь об этом стоит подумать, как вы находите?

— За пятнадцать тысяч франков?

— Да.

— Сударь, вы меня пугаете.

— Ну, вот еще!

— Сударь, вы хотите соблазнить меня?

— Вот именно. Понимаете, пятнадцать тысяч франков!

— Сударь, позвольте мне лучше посмотреть на моего корреспондента справа.

— Напротив, не смотрите на него, а посмотрите на это.

— Что это?

— Как? Вы не знаете этих бумажек?

— Кредитные билеты!

— Самые настоящие; и их здесь пятнадцать.

— А чьи они?

— Ваши, если вы пожелаете.

— Мои! — воскликнул, задыхаясь, чиновник.

— Ну да, ваши, в полную собственность.

— Сударь, мой корреспондент справа задвигался.

— Ну и пусть себе.

— Сударь, вы отвлекли меня, и меня оштрафуют.

— Это вам обойдется в сто франков; вы видите, что в ваших интересах взять эти пятнадцать тысяч франков.

— Сударь, мой корреспондент справа теряет терпение, он повторяет свои сигналы.

— Не обращайтесь на него внимания и берите.

Граф сунул пачку в руку чиновника.

— Но это еще не все, — сказал он. — Вы не сможете жить на пятнадцать тысяч франков.

— За мной остается еще мое место.

— Нет, вы его потеряете; потому что сейчас вы дадите не тот сигнал, который вам дал ваш корреспондент.

- О, сударь, что вы мне предлагаете?
- Детскую шалость.
- Сударь, если меня к этому не принудят...
- Я именно и собираюсь вас принудить.

И Монте-Кристо достал из кармана вторую пачку.

— Тут еще десять тысяч франков, — сказал он, — с теми пятнадцатью, которые у вас в кармане, это составит двадцать пять тысяч. За пять тысяч вы приобретете хорошенький домик и две десятины земли; остальные двадцать тысяч дадут вам тысячу франков годового дохода.

- Сад в две десятины!
- И тысяча франков дохода.
- Боже мой, боже мой!
- Да берите же!

И Монте-Кристо насильно вложил в руку чиновника эти десять тысяч франков.

- Что я должен сделать?
- Ничего особенного.
- Но все-таки?
- Повторите вот эти сигналы.

Монте-Кристо достал из кармана бумагу, на которой были изображены три сигнала и номера, указывавшие порядок, в котором их требовалось передать.

- Как видите, это не займет много времени.
- Да, но...
- Уж теперь у вас будут гладкокожие персики и все что угодно.

Удар попал в цель: красный от возбуждения и весь в поту, старичок проделал один за другим все три сигнала, данные ему графом, несмотря на отчаянные призывы корреспондента справа, который, ничего не понимая в происходящем, начинал думать, что любитель персиков сошел с ума.

Что касается корреспондента слева, то тот добросовестно повторил его сигналы, которые в конце концов были приняты министерством внутренних дел.

- Теперь вы богаты, — сказал Монте-Кристо.
- Да, — сказал чиновник, — но какой ценой?
- Послушайте, друг мой, — сказал Монте-Кристо, — я не хочу, чтобы вас мучила совесть: поверьте, клянусь вам, вы никому не сделали вреда и только содействовали божьему промыслу.

Чиновник разглядывал кредитные билеты, ощупывал их, считал; он то бледнел, то краснел; наконец он побежал в

свою комнату, чтобы выпить стакан воды, но, не успев добраться до раковины, потерял сознание среди своих сухих бобов.

Через пять минут после того, как телеграфное сообщение достигло министерства внутренних дел, Дебрэ приказал запрячь лошадей в карету и помчался к Дангларам.

— У вашего мужа есть облигации испанского займа? — спросил он у баронессы.

— Еще бы! Миллионов на шесть.

— Пусть он продает их по любой цене.

— Это почему?

— Потому что Дон Карлос бежал из Буржа и вернулся в Испанию.

— Откуда вам это известно?

— Да оттуда, — сказал, пожимая плечами, Дебрэ, — откуда мне все известно.

Баронесса не заставила себя упрашивать, она бросилась к мужу; тот бросился к своему маклеру и велел ему продавать по какой бы то ни было цене.

Когда увидели, что Данглар продает, испанские бумаги тотчас упали. Данглар потерял на этом пятьсот тысяч франков, но избавился от всех своих облигаций.

Вечером в «Вестнике» было напечатано:

«Телеграфное сообщение.

Король Дон Карлос, несмотря на установленный за ним надзор, тайно скрылся из Буржа и вернулся в Испанию через каталонскую границу. Барселона восстала и перешла на его сторону».

Весь вечер только и было разговоров, что о предусмотрительности Данглара, успевшего продать свои облигации, об удаче этого биржевика, потерявшего всего лишь пятьсот тысяч франков в такой катастрофе.

А те, кто сохранил свои облигации или купил бумаги Данглара, считали себя разоренными и провели прескверную ночь.

На следующий день в «Официальной газете» было напечатано:

«Вчерашнее сообщение «Вестника» о бегстве Дон Карлоса и о восстании в Барселоне ни на чем не основано.

Король Дон Карлос не покидал Буржа, и на полуострове царит полное спокойствие.

Поводом к этой ошибке послужил телеграфный сигнал, неверно понятый вследствие тумана».

Облигации поднялись вдвое против той цифры, на которую упали. В общей сложности, считая убыток и упущение возможной прибыли, это составило для Данглара потерю в миллион.

— Однако! — сказал Монте-Кристо Моррелю, находившемуся у него в то время, когда пришло известие о странном повороте на бирже, жертвой которого оказался Данглар. — За двадцать пять тысяч франков я сделал открытие, за которое охотно заплатил бы сто тысяч.

— В чем же заключается ваше открытие? — спросил Максимилиан.

— Я нашел способ избавить одного садовода от сонь, которые поедали его персики.

V. ПРИЗРАКИ

По внешнему виду в отейльском доме не было никакой роскоши, ничего такого, чего можно было бы ожидать от жилища, предназначенного великолепному графу Монте-Кристо. Но эта простота объяснялась желанием самого хозяина: он строго распорядился ничего не менять снаружи; чтобы в этом убедиться, достаточно было взглянуть на внутреннее убранство. В самом деле, стоило только переступить порог, как картина сразу менялась.

Убранством комнат и той быстротой, с которой все было сделано, Бертуччо превзошел самого себя. Как некогда герцог Антенский приказал вырубить в одну ночь целую аллею, которая мешала взору Людовика XIV, так Бертуччо в три дня засадил совершенно голый двор, и прекрасные тополя и клены, привезенные вместе с огромными глыбами корней, затеняли главный фасад дома, перед которым, на месте булыжника, заросшего травой, раскинулась лужайка, устланная дерном; пласты его, положенные не далее как утром, образовали широкий ковер; на нем еще блестели после поливки капли воды.

Впрочем, все распоряжения исходили от графа; он сам передал Бертуччо план, где были указаны количество и расположение деревьев, которые следовало посадить, и размеры и форма лужайки, которая должна была заменить булыжник.

В таком виде дом стал неузнаваем, и сам Бертуччо уверял, что не узнает его в этой зеленой раме.

Управляющий не прочь был бы кстати изменить кое-что и в саду, но граф строго запретил что бы то ни было там трогать. Бертуччо вознаградил себя тем, что обильно украсил цветами прихожую, лестницы и камин.

Поистине управляющий был одарен необыкновенной способностью выполнять приказания, а хозяин — чудесным умением заставить себе служить. И вот дом, уже двадцать лет никем не обитаемый, еще накануне такой мрачный и печальный, пропитанный тем затхлым запахом, который можно назвать запахом времени, в один день принял живой облик, наполнился теми ароматами, которые любил хозяин, и даже тем количеством света, которое он предпочитал; едва вступив в него, граф находил у себя под рукой свои книги и оружие, перед глазами — любимые картины, в прихожих — преданных ему собак и любимых певчих птиц; весь этот дом, проснувшийся от долгого сна, словно замок спящей красавицы, жил, пел и расцветал, подобно тем жилищам, которые давно нам милы и в которых, если мы имеем несчастье их покинуть, мы невольно оставляем частицу нашей души.

По двору весело сновали слуги: одни — занятые в кухнях и бегавшие по только что починенным лестницам с таким видом, как будто они всегда жили в этом доме; другие — представленные к сараям, где экипажи, размещенные по номерам, стояли словно уже полвека, и к конюшням, где лошади, жуя овес, отвечали ржаньем своим конюхам, которые разговаривали с ними гораздо почтительнее, чем иные слуги со своими хозяевами.

Библиотека помещалась в двух шкафах, вдоль двух стен, и содержала около двух тысяч томов; целое отделение было предназначено для новейших романов, — и появившийся накануне уже стоял на месте, красуясь в своем красном с золотом переплете.

По другую сторону дома, против библиотеки, была устроена оранжерея, полная редких растений в огромных японских вазах; посередине оранжереи, чарующей глаз и обоняние, стоял бильярд, словно час тому назад покинутый игроками, оставившими шары дремать на зеленом сукне.

Только одной комнаты не коснулся волшебник Бертуччо. Она была расположена в левом углу второго этажа, и в нее можно было войти по главной лестнице, а выйти по потай-

ной; мимо этой комнаты слуги проходили с любопытством, а Бертуччо с ужасом.

Ровно в пять часов граф, в сопровождении Али, подъехал к отейльскому дому. Бертуччо ждал его прибытия с тревожным нетерпением; он надеялся услышать похвалу и в то же время опасался увидеть нахмуренные брови.

Монте-Кристо вышел из экипажа, прошел по всему дому и обошел сад, не проронив ни слова и ничем не выказав ни одобрения, ни недовольства.

Только войдя в свою спальню, помещавшуюся в конце, противоположном запертой комнате, он указал рукой на маленький шкафчик из розового дерева, на который обратил внимание уже в первое свое посещение.

— Он годится только для перчаток, — заметил он.

— Совершенно верно, ваше сиятельство, — ответил восхищенный Бертуччо, — откройте его: в нем перчатки.

В других шкафчиках точно так же оказалось именно то, что граф и ожидал в них найти: флаконы с духами, сигары, драгоценности.

— Хорошо! — сказал он наконец.

И Бертуччо удалился, ослесливленный до глубины души, настолько велико и могущественно было влияние этого человека на все окружающее.

Ровно в шесть часов у подъезда раздался конский топот. Это прибыл верхом на Медеа наш капитан спаги.

Монте-Кристо, приветливо улыбаясь, ждал его в дверях.

— Я уверен, что я первый, — крикнул ему Моррель, — я нарочно спешил, чтобы побыть с вами хоть минуту вдвоем, пока не соберутся остальные. Жюли и Эмманюель просили меня передать вам тысячу приветствий. А знаете, у вас здесь великолепно! Скажите, граф, ваши люди хорошо присмотрят за моей лошадьёю?

— Не беспокойтесь, дорогой Максимилиан, они знают свое дело.

— Ведь ее нужно хорошенько обтереть. Если бы вы видели, как она неслась! Настоящий вихрь!

— Еще бы, я думаю, лошадь, стоящая пять тысяч франков! — сказал Монте-Кристо тоном отца, говорящего со своим сыном.

— Вы о них жалеете? — спросил Моррель со своей открытой улыбкой.

— Я? Боже меня упаси! — ответил граф. — Нет. Мне было бы жаль только, если бы лошадь оказалась плоха.

— Она так хороша, дорогой граф, что Шато-Рено, первый знаток во Франции, и Дебрэ, пользующийся арабскими конями министерства, гонятся за мной сейчас и, как видите, отстают, а за ними мчатся по пятам лошади баронессы Данглар, которые делают ни более ни менее как шесть лье в час.

— Так, значит, они сейчас будут здесь? — спросил Монте-Кристо.

— Да. Да вот и они.

И действительно, у ворот, немедленно распахнувшихся, показались взмыленная пара и две тяжело дышащие верховые лошади. Карета, описав круг, остановилась у подъезда в сопровождении обоих всадников.

Дебрэ мигом соскочил с седла и открыл дверцу кареты. Он подал руку баронессе, которая, выходя, сделала движение, не замеченное никем, кроме Монте-Кристо. Но от взгляда графа ничто не могло укрыться; он заметил, как при этом движении мелькнула белая записочка, столь же незаметная, как и самый жест, и с легкостью, говорившей о привычке, перешла из руки г-жи Данглар в руку секретаря министра.

Вслед за женой появился банкир, такой бледный, как будто он выходил не из кареты, а из могилы.

Быстрым, пытливым взглядом, понятным одному только Монте-Кристо, г-жа Данглар окинула двор, подъезд и фасад дома; затем, подавляя легкое волнение, которое, несомненно, отразилось бы на ее лице, если бы это лицо было способно бледнеть, она поднялась по ступеням, говоря Моррелю:

— Сударь, если бы вы были моим другом, я спросила бы вас, не продадите ли вы вашу лошадь.

Моррель изобразил улыбку, больше похожую на гримасу, и взглянул на Монте-Кристо, как бы умоляя выручить его из затруднительного положения.

Граф понял его.

— Ах, сударыня, — сказал он, — почему не ко мне относится ваш вопрос?

— Когда имеешь дело с вами, граф, — отвечала баронесса, — чувствуешь себя не вправе что-либо желать, потому что тогда наверно это получишь. Вот почему я и обратилась к господину Моррелю.

— К сожалению, — сказал граф, — я могу удостоверить, что господин Моррель не может уступить свою лошадь: оставить ее у себя — для него вопрос чести.

— Как так?

— Он держал пари, что объездит Медеа в полгода. Вы понимаете, баронесса, если он расстанется с ней до истечения срока пари, то он не только проиграет его, но будут говорить еще, что он испугался. А капитан спаги, даже ради прихоти хорошенькой женщины, — хотя это, на мой взгляд, одна из величайших святынь в нашем мире, — не может допустить, чтобы о нем пошли такие слухи.

— Вы видите, баронесса, — сказал Моррель, с благодарностью улыбаясь графу.

— Притом же, мне кажется, — сказал Данглар, с насильственной улыбкой, плохо скрывавшей его хмурый тон, — у вас и так достаточно лошадей.

Было не в обычае г-жи Данглар безнаказанно спускать подобные выходки, однако, к немалому удивлению молодых людей, она сделала вид, что не слышит, и ничего не ответила.

Монте-Кристо, у которого это молчание вызвало улыбку, ибо свидетельствовало о непривычном смирении, показывал баронессе две исполинские вазы китайского фарфора, на них извивались морские водоросли такой величины и такой работы, что, казалось, только сама природа могла создать их такими могучими, сочными и хитроумно сплетенными.

Баронесса была в восхищении.

— Да в них можно посадить каштановое дерево из Тюильри! — сказала она. — Как только ухитрились обжечь эти громадины?

— Сударыня, — сказал Монте-Кристо, — разве можем ответить на это мы, умеющие мастерить статуэтки и стекло тоньше кисеи? Это работа других веков, в некотором роде создание гениев земли и моря.

— Вот как? И к какой примерно эпохе они относятся?

— Этого я не знаю; я слышал только, что какой-то китайский император велел построить особую обжигательную печь; в этой печи обожгли, одну за другой, двенадцать таких ваз. Две из них лопнули в огне; десять остальных спустили в море на глубину трехсот саженей. Море, зная, что от него требуется, обволокло их своими водорослями, покрыло кораллами, врезало в них раковины; на невероятной глубине все это спаяли вместе два столетия, потому что император, который хотел проделать этот опыт, был сметен революцией, и после него осталась только запись, свидетельствующая о том, что вазы были обожжены и спущены на морское дно. Через двести лет нашли эту запись и решили извлечь вазы.

Водолазы в особо устроенных приспособлениях начали поиски в той бухте, куда их опустили; но из десяти ваз нашли только три; остальные были смыты и разбиты волнами. Я люблю эти вазы; я воображаю иногда, что в глубину их с удивлением бросали свой тусклый и холодный взгляд таинственные, наводящие ужас, бесформенные чудища, каких могут видеть только водолазы, и что мириады рыб укрывались в них от преследования врагов.

Между тем Данглар, равнодушный к редкостям, машинально обрывал один за другим цветы великолепного померанцевого дерева; покончив с померанцевым деревом, он перешел к кактусу, но кактус, не столь покладистый, жестоко уколол его.

Тогда он вздрогнул и протер глаза, словно просыпаясь от сна.

— Барон, — сказал ему, улыбаясь, Монте-Кристо, — вам, любителю живописи и обладателю таких прекрасных произведений, я не смею хвалить свои картины. Но все же вот два Гоббемы, Пауль Поттер, Мирис, два Герарда Доу, Рафаэль, Ван-Дейк, Сурбаран и два-три Мурильо, которые достойны быть вам представлены.

— Позвольте! — сказал Дебрэ. — Вот этого Гоббему я узнаю.

— В самом деле?

— Да, его предлагали Музею.

— Там, кажется, нет ни одного Гоббемы? — вставил Монте-Кристо.

— Нет, и, несмотря на это, Музей отказался его приобрести.

— Почему же? — спросил Шато-Рено.

— Ваша наивность очаровательна; да потому, что у правительства нет для этого средств.

— Прошу прощения! — сказал Шато-Рено. — Я вот уже восемь лет слышу это каждый день и все еще не могу привыкнуть.

— Со временем привыкнете, — сказал Дебрэ.

— Не думаю, — ответил Шато-Рено.

— Майор Бартоломео Кавальканти, виконт Андреа Кавальканти! — доложил Батистен.

В высоком черном атласном галстуке только что из магазина, гладко выбритый, седоусый, с уверенным взглядом, в майорском мундире, украшенном тремя звездами и пятью крестами, с безукоризненной выправкой старого солдата, —

таким явился майор Бартоломео Кавальканти, уже знакомый нам нежный отец.

Рядом с ним шел, одетый с иголки, с улыбкой на губах, виконт Андреа Кавальканти, точно так же знакомый нам почтительный сын.

Моррель, Дебрэ и Шато-Рено разговаривали между собой: они поглядывали то на отца, то на сына и, естественно, задерживались на этом последнем, тщательнейшим образом изучая его.

— Кавальканти! — проговорил Дебрэ.

— Звучное имя, черт побери! — сказал Моррель.

— Да, — сказал Шато-Рено, — это верно. Итальянцы именуют себя хорошо, но одеваются плохо.

— Вы придираетесь, Шато-Рено, — возразил Дебрэ, — его костюм отлично сшит и совсем новый.

— Именно это мне и не нравится. У этого господина такой вид, будто он сегодня в первый раз оделся.

— Кто такие эти господа? — спросил Данглар у Монте-Кристо.

— Вы же слышали: Кавальканти.

— Это только имя, оно ничего мне не говорит.

— Да, вы ведь не разбираетесь в нашей итальянской знати; сказать «Кавальканти» значит сказать — вельможа.

— Крупное состояние? — спросил банкир.

— Сказочное.

— Что они делают?

— Безуспешно стараются его прожить. Кстати, они аккредитованы на ваш банк, они сказали мне это, когда были у меня третьего дня. Я даже ради вас и пригласил их. Я вам их представлю.

— Мне кажется, они очень чисто говорят по-французски, — сказал Данглар.

— Сын воспитывался в каком-то коллеже на юге Франции, в Марселе или его окрестностях как будто. Сейчас он в совершенном восторге.

— От чего? — спросила баронесса.

— От французенок, сударыня. Он непременно хочет жениться на парижанке.

— Нечего сказать, остроумно придумал! — заявил Данглар, пожимая плечами.

Госпожа Данглар бросила на мужа взгляд, который в другое время предвещал бы бурю, но и на этот раз она смолчала.

— Барон сегодня как будто в очень мрачном настро-

ении, — сказал Монте-Кристо г-же Данглар, — уж не хотят ли его сделать министром?

— Пока нет, насколько я знаю. Я скорее склонна думать, что он играл на бирже и проиграл, и теперь не знает, на ком сорвать досаду.

— Господин и госпожа де Вильфор! — возгласил Батистен.

Королевский прокурор с супругой вошли в комнату.

Вильфор, несмотря на все свое самообладание, был явно взволнован. Пожимая его руку, Монте-Кристо заметил, что она дрожит.

«Положительно, только женщины умеют притворяться», — сказал себе Монте-Кристо, глядя на г-жу Данглар, которая улыбалась королевскому прокурору и целовалась с его женой.

После обмена приветствиями граф заметил, что Бертуччо, до того времени занятый в буфетной, проскользнул в маленькую гостиную, смежную с той, в которой находилось об-щество.

Он вышел к нему.

— Что вам нужно, Бертуччо? — спросил он.

— Ваше сиятельство не сказали мне, сколько будет гостей.

— Да, верно.

— Сколько приборов?

— Сосчитайте сами.

— Все уже в сборе, ваше сиятельство?

— Да.

Бертуччо заглянул в полуоткрытую дверь.

Монте-Кристо впился в него глазами.

— О боже! — воскликнул Бертуччо.

— В чем дело? — спросил граф.

— Эта женщина!.. Эта женщина!..

— Которая?

— Та, в белом платье и вся в бриллиантах... блондинка!..

— Госпожа Данглар?

— Я не знаю, как ее зовут. Но это она, сударь, это она!

— Кто «она»?

— Женщина из сада! Та, что была беременна! Та, что гуляла, поджидая... поджидая...

Бертуччо замолк, с раскрытым ртом, весь бледный; волосы у него стали дыбом.

— Поджидая кого?

Бертуччо молча показал пальцем на Вильфора, почти таким жестом, каким Макбет указывает на Банко.

— О боже, — прошептал он наконец. — Вы видите?

— Что? Кого?

— Его!

— Его? Господина королевского прокурора де Вильфор? Разумеется, я его вижу.

— Так, значит, я его не убил!

— Послушайте, милейший Бертуччо, вы, кажется, сошли с ума, — сказал граф.

— Так, значит, он не умер!

— Да нет же! Он не умер, вы сами видите; вместо того чтобы всадить ему кинжал в левый бок между шестым и седьмым ребром, как это принято у ваших соотечественников, вы всадили его немного ниже или немного выше; а эти судейские — народ живучий. Или, вернее, во всем, что вы мне рассказали, не было ни слова правды — это было лишь воображение, галлюцинация. Вы заснули, не переварив как следует вашего мщения, оно давило вам на желудок, и вам приснился кошмар, — вот и все. Ну, придите в себя и сосчитайте: господин и госпожа де Вильфор — двое; господин и госпожа Данглар — четверо; Шато-Рено, Дебрэ, Моррель — семеро; майор Бартоломео Кавальканти — восемь.

— Восемь, — повторил Бертуччо.

— Да постойте же! Постойте! Куда вы так торопитесь, черт возьми! Вы пропустили еще одного гостя. Посмотрите немного левей... вот там... господин Андреа Кавальканти, молодой человек в черном фраке, который рассматривает мадонну Мурильо; вот он обернулся.

На этот раз Бертуччо едва не закричал, но под взглядом Монте-Кристо крик замер у него на губах.

— Бенедетто! — прошептал он едва слышно. — Это судьба!

— Бьет половина седьмого, господин Бертуччо, — строго сказал граф, — я распорядился, чтобы в это время был подан обед. Вы знаете, что я не люблю ждать.

И Монте-Кристо вернулся в гостиную, где его ждали гости, тогда как Бертуччо, держась за стены, направился к столовой. Через пять минут распахнулись обе двери гостиной. Появился Бертуччо и, делая над собой, подобно Вателю¹ в Шантильи, последнее героическое усилие, объявил:

¹ Главный повар принца Конде, который заколол себя шпагой, увидав, что опаздывает рыба, заказанная к королевскому столу.

— Кушать подано, ваше сиятельство!

Монте-Кристо подал руку г-же де Вильфор.

— Господин де Вильфор, — сказал он, — будьте кавалером баронессы Данглар, прошу вас.

Вильфор повинувался, и все перешли в столовую.

VI. ОБЕД

Было совершенно очевидно, что, идя в столовую, все гости испытывали одинаковое чувство. Они недоумевали, какая странная сила заставила их всех собраться в этом доме, — и все же, как ни были некоторые из них удивлены и даже обеспокоены тем, что находятся здесь, им бы не хотелось здесь не быть.

А между тем непродолжительность знакомства с графом, его эксцентричная и одинокая жизнь, его никому не ведомое и почти сказочное богатство должны были бы заставить мужчин быть осмотрительными, а женщинам преградить доступ в этот дом, где не было женщин, чтобы их принять. Однако мужчины преступили законы осмотрительности, а женщины — правила приличия: неодолимое любопытство, их подстрекавшее, превозмогло все.

Даже оба Кавальканти — отец, несмотря на свою чопорность, сын, несмотря на свою развязность, — казались озабоченными тем, что сошлись в доме этого человека, чьи цели были им непонятны, с другими людьми, которых они видели впервые.

Госпожа Данглар невольно вздрогнула, увидав, что Вильфор, по просьбе Монте-Кристо, предлагает ей руку, а у Вильфора помутнел взор за очками в золотой оправе, когда он почувствовал, как рука баронессы оперлась на его руку.

Ни один признак волнения не ускользнул от графа; одно лишь соприкосновение всех этих людей уже представляло для наблюдателя огромный интерес.

По правую руку Вильфора села г-жа Данглар, а по левую — Моррель.

Граф сидел между г-жой де Вильфор и Дангларом.

Остальные места были заняты Дебрэ, сидевшим между отцом и сыном Кавальканти, и Шато-Рено, сидевшим между г-жой де Вильфор и Моррелем.

Обед был великолепен; Монте-Кристо задался целью совершенно перевернуть все парижские привычки и утолить

еще более любопытство гостей, нежели их аппетит. Им был предложен восточный пир, но такой, какими могли быть только пиры арабских волшебниц.

Все плоды четырех стран света, какие только могли свежими и сочными попасть в европейский рог изобилия, громоздились пирамидами в китайских вазах и японских чашах. Редкостные птицы в своем блестящем оперении, исполинские рыбы, простертые на серебряных блюдах, все вина Архипелага, Малой Азии и Южной Африки в дорогих сосудах, чьи причудливые формы, казалось, делали их еще ароматнее, друг за другом, словно на пиру, какие предлагал Апиций¹ своим сотрапезникам, прошли перед взорами этих парижан, считавших, что обед на десять человек, конечно, может обойтись в тысячу луидоров, но только при условии, если, подобно Клеопатре, глотать жемчужины или же, подобно Лоренцо Медичи, пить расплавленное золото.

Монте-Кристо видел общее изумление; он засмеялся и стал шутить над самим собой.

— Господа, — сказал он, — должны же вы согласиться, что на известной степени благосостояния только излишество является необходимостью, точно так же, как — дамы, конечно, согласятся, — на известной степени экзальтации реален только идеал? Продолжим эту мысль. Что такое чудо? То, чего мы не понимаем. Что всего желаннее? То, что недосыгаемо. Итак, видеть непостижимое, добывать недосыгаемое — вот чему я посвятил свою жизнь. Я достигаю этого двумя способами: деньгами и волей. Чтобы осуществить свою прихоть, я проявляю такую же настойчивость, как, например, вы, господин Данглар, — прокладывая железнодорожную линию; вы, господин де Вильфор, — добываясь для человека смертного приговора; вы, господин Дебрэ, — умиротворяя какое-нибудь государство; вы, господин Шато-Рено, — стараясь понравиться женщине; и вы, Моррель, — укрощая лошадь, которую никто не может объездить. Вот, например, посмотрите на этих двух рыб: одна родилась в пятидесяти лье от Санкт-Петербурга, а другая — в пяти лье от Неаполя; разве не забавно соединить их на одном столе?

— Что же это за рыбы? — спросил Данглар.

— Вот Шато-Рено жил в России, он скажет вам, как на-

¹ Гастроном времен Августа и Тиверия.

зывается одна из них, — отвечал Монте-Кристо, — а майор Кавальканти, итальянец, назовет другую.

— Это, — сказал Шато-Рено, — по-моему, стерлядь.

— Совершенно верно.

— А это, — сказал Кавальканти, — если не ошибаюсь, минога.

— Вот именно. А теперь, барон, спросите, где ловятся эти рыбы.

— Стерляди ловятся только в Волге, — ответил Шато-Рено.

— Я не слышал, — сказал Кавальканти, — чтобы где-нибудь, кроме озера Фузаро, водились миноги таких размеров.

— Так оно и есть; одна прибыла с Волги, а другая с озера Фузаро.

— Не может быть! — воскликнули все гости в один голос.

— Вот это и доставляет мне удовольствие, — сказал Монте-Кристо. — Я, как Нерон, — *cupitor impossibilium*¹; ведь вы тоже испытываете удовольствие; эти рыбы, которые на самом деле, может быть, и хуже, чем окунь или лосось, покажутся вам сейчас восхитительными, — и все потому, что вам казалось невозможным их достать, а между тем — вот они.

— Но каким образом удалось доставить этих рыб в Париж?

— Нет ничего проще. Их привезли в больших бочках, из которых одна выложена речными травами и камышом, а другая — тростником и озерными растениями; их поместили в специально устроенные фургоны; стерлядь прожила так двенадцать дней, а минога восемь, и обе они были живехоньки, когда попали в руки моего повара, который уморил одну в молоке, а другую в вине. Вы не верите, Данглар?

— Во всяком случае, позволяю себе сомневаться, — отвечал Данглар со своей натянутой улыбкой.

— Батистен, — сказал Монте-Кристо, — велите принести сюда вторую стерлядь и вторую миногу, знаете, те, что были в других бочках и еще живы.

Данглар вытаращил глаза; все общество заплодировало.

Четверо слуг внесли две бочки, выложенные водорослями; в каждой из них трепетала рыба, подобная той, которая была подана к столу.

¹ Искатель невозможного (*лат.*).

— Но зачем же по две каждого сорта? — спросил Данглар.

— Потому что одна из них могла заснуть, — просто ответил Монте-Кристо.

— Вы в самом деле изумительный человек! — сказал Данглар. — Что бы там ни говорили философы, хорошо быть богатым.

— А главное — изобретательным, — добавила г-жа Данглар.

— Это изобретение не мое, баронесса; оно было в ходу у римлян. Плиний сообщает, что из Остии в Рим, при помощи нескольких смен рабов, которые несли их на головах, пересылались рыбы из породы тех, которых он называет *mulus*; судя по его описанию, это дорада. Получить ее живой считалось роскошью еще и потому, что зрелище ее смерти было очень занимательно; засыпая, она несколько раз меняла свой цвет и, подобно испаряющейся радуге, проходила сквозь все оттенки спектра, после чего ее отправляли на кухню. Эта агония входила в число ее достоинств. Если ее не видели живой, ею пренебрегали мертвой.

— Да, — сказал Дебрэ, — но от Остии до Рима не больше восьми лье.

— Это верно, — отвечал Монте-Кристо, — но разве слуга родиться через тысячу восемьсот лет после Лукулла, если не умеешь его превзойти?

Оба Кавальканти смотрели во все глаза, но благоразумно молчали.

— Это все очень интересно, — сказал Шато-Рено, — но что меня восхищает больше всего, так это быстрота, с которой исполняются ваши приказания. Ведь правда, граф, что вы купили этот дом всего пять или шесть дней тому назад?

— Да, не больше, — сказал Монте-Кристо.

— И я убежден, что за эту неделю он совершенно преобразился; ведь, если я не ошибаюсь, у него был другой вход, и двор был мощеный и пустой, а сейчас это великолепная лужайка, обсаженная деревьями, которым на вид сто лет.

— Что поделаешь, я люблю зелень и тень, — сказал Монте-Кристо.

— В самом деле, — сказала г-жа де Вильфор, — прежде въезд был через ворота, выходящие на дорогу, и в день моего чудесного спасения, я помню, вы ввели меня в дом прямо с улицы.

— Да, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — но потом я

предпочел иметь вход, позволяющий мне сквозь ограду видеть Булонский лес.

— В четыре дня, — сказал Моррель. — Это чудо!

— Действительно, — сказал Шато-Рено, — сделать из старого дома совершенно новый — это похоже на чудо. Это был очень старый дом, и даже очень унылый. Я помню, моя мать поручила мне осмотреть его, когда маркиз де Сен-Меран решил его продать, года два или три тому назад.

— Маркиз де Сен-Меран? — сказала г-жа де Вильфор. — Так этот дом раньше принадлежал маркизу де Сен-Меран?

— По-видимому, да, — ответил Монте-Кристо.

— Как по-видимому? Вы не знаете, у кого вы купили этот дом?

— Признаться, нет; всеми этими подробностями занимается мой управляющий.

— Правда, он уже лет десять был необитаем, — сказал Шато-Рено. — Грустно было видеть его закрытые ставни, запертые двери и заросший травой двор. Право, если бы он не принадлежал тестю королевского прокурора, его можно было бы принять за проклятый дом, в котором когда-то совершилось великое преступление.

Вильфор, который до сих пор не дотрагивался ни до одного из стоявших перед ним бокалов необыкновенного вина, взял первый попавшийся и залпом осушил его.

Монте-Кристо минуту молчал; затем, среди безмолвия, последовавшего за словами Шато-Рено, он сказал:

— Странно, барон, но та же самая мысль мелькнула и у меня, когда я вошел сюда в первый раз: этот дом показался мне зловещим, и я ни за что не купил бы его, если бы мой управляющий уже не сделал это за меня. Вероятно, этот мошенник получил некоторую мзду от нотариуса.

— Весьма возможно, — пробормотал Вильфор, пытаясь улыбнуться, — но, поверьте, в этом подкупе я не повинен. Маркиз де Сен-Меран желал, чтобы этот дом, составлявший часть приданого его внучки, был продан, потому что, если бы он еще три-четыре года простоял необитаемым, он окончательно разрушился бы.

На этот раз побледнел Моррель.

— Особенно одна комната, — продолжал Монте-Кристо, — на вид самая обыкновенная, комната как комната, обитая красным штофом, не знаю почему, показалась мне донельзя трагической.

— Почему это? — спросил Дебрэ. — Почему трагической?

— Разве можно дать себе отчет в инстинктивном чувстве? — сказал Монте-Кристо. — Разве не бывает мест, где на вас веет печалью? Почему? — не знаешь сам; благодаря сцеплению воспоминаний, прихоти мысли, переносящей нас в другие времена, в другие места, быть может не имеющие ничего общего с временем и местом, где мы находимся... И эта комната удивительно напомнила мне комнату маркизы де Ганж¹ или Дездемоны. Но мы кончили обедать, — если хотите, я покажу вам ее, прежде чем мы перейдем в сад пить кофе: после обеда — зрелище.

Монте-Кристо вопросительно посмотрел на своих гостей; г-жа де Вильфор встала, Монте-Кристо сделал то же самое, и все последовали их примеру.

Вильфор и г-жа Данглар остались минуту сидеть, словно прикованные к месту; они смотрели друг на друга безмолвно, похолодев от ужаса.

— Вы слышали? — сказала г-жа Данглар.

— Надо идти, — ответил Вильфор, вставая и подавая ей руку.

Гости, подстрекаемые любопытством, уже разбрелись по всему дому, так как предполагали, что осмотр не ограничится одной только комнатой и что заодно можно будет увидеть и остальные части этих развалин, из которых Монте-Кристо сделал дворец. Поэтому все поспешили в открытые настежь двери. Монте-Кристо подождал двух отставших; потом, когда они в свою очередь вышли из столовой, он замкнул шестивие, улыбаясь так, что, если бы гости поняли значение его улыбки, она привела бы их в гораздо больший ужас, чем та комната, куда они шли. Действительно, начали с осмотра всего помещения: жилых комнат, убранных по-восточному, где диваны и подушки заменяли кровати, а трубки и оружие — мебелировку; гостиных, увешанных лучшими картинами старых мастеров; будуаров, обитых китайскими тканями изумительной работы, прихотливых оттенков и фантастических рисунков; наконец достигли пресловутой комнаты.

В ней не было ничего особенного, если не считать того, что, несмотря на сумерки, она не была освещена и что все в ней было ветхое, тогда как остальные комнаты были заново отделаны.

¹ Маркиза де Ганж, бесчеловечно убитая в 1667 году братьями своего мужа, кавалером и аббатом де Ганж.

— Да, здесь в самом деле жутко! — воскликнула г-жа де Вильфор.

Госпожа Данглар пыталась что-то пробормотать, но ее слов никто не расслышал.

Гости обменялись кое-какими замечаниями, сводившимися к тому, что в красной комнате действительно есть что-то зловещее.

— Не правда ли? — сказал Монте-Кристо. — Взгляните только, как странно стоит эта кровать, какие мрачные, кровавые обои! А эти два портрета пастелью, потускневшие от сырости! Разве вам не кажется, что их бескровные губы и испуганные глаза говорят: «Мы видели!»

Вильфор стал мертвенно-бледен, г-жа Данглар в изнеможении опустилась на кушетку возле камина.

— Эрмина, — сказала, улыбаясь, г-жа де Вильфор, — как это у вас хватает духу сидеть на кушетке, на которой, быть может, и совершилось преступление?

Госпожа Данглар поспешно поднялась.

— И это не все, — сказал Монте-Кристо.

— А что же еще? — спросил Дебрэ, от которого не ускользнуло волнение г-жи Данглар.

— Да, что еще? — спросил Данглар. — Признаюсь, пока я не вижу ничего особенного; а вы, господин Кавальканти?

— Ну, — сказал тот, — у нас в Пизе имеется башня Уголино, в Ферраре — темница Тассо, а в Римини — комната Франчески и Паоло.

— Да, но у вас нет этой лесенки, — сказал Монте-Кристо, открывая дверь, скрытую в обоях, — взгляните на нее и скажите, что вы о ней думаете.

— Какая зловещая винтовая лестница! — сказал, смеясь, Шато-Рено.

— В самом деле, — сказал Дебрэ, — не знаю, может быть, это хиосское вино нагоняет такую тоску, но меня этот дом наводит на мрачные мысли.

Что касается Морреля, то с той минуты, как упомянули о приданом Валентины, он был грустен и не произнес ни слова.

— Представьте себе, — сказал Монте-Кристо, — какого-нибудь Отелло или аббата де Ганж, в темную, бурную ночь спускающегося шаг за шагом по этой лестнице, с какой-нибудь зловещей ношей, которую он спешит укрыть от человеческих глаз, если не от божьего ока?

Госпожа Данглар чуть не упала без чувств на руки Вильфора, который и сам был вынужден прислониться к стене.

— Что с вами, баронесса? — воскликнул Дебрэ. — Как вы поблбднели!

— Очень понятно, что с ней, — сказала г-жа де Вильфор, — граф Монте-Кристо рассказывает ужасные вещи, очевидно желая, чтобы все мы умерли со страху.

— Это верно, — заявил Вильфор. — В самом деле, граф, вы пугаете дам.

— Да что же с вами? — шепотом повторил Дебрэ г-же Данглар.

— Ничего, ничего, — ответила она, делая над собой усилие, — мне просто душно, вот и все.

— Не хотите ли спуститься в сад? — спросил Дебрэ, предлагая г-же Данглар руку и направляясь к потайной лестнице.

— Нет, нет, — сказала она, — уж лучше я останусь здесь.

— Но, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — неужели вы в самом деле испугались?

— Нет, граф, — отвечала госпожа Данглар, — но вы умеете так строить предположения, что фантазия начинает казаться реальностью.

— Ну, конечно, — сказал, улыбаясь, Монте-Кристо, — все это просто игра воображения; ведь почему не представить себе, что эта комната — мирная, честная спальня матери семейства; эта кровать с пурпурным пологом — ложе, ослепленное посещением богини Люцины; а эта таинственная лестница — просто ход, по которому чуть слышно, чтобы не потревожить сна родильницы, спускается врач или кормилица, или сам отец, уносящий заснувшего младенца?..

На сей раз г-жа Данглар, вместо того чтобы успокоиться при виде этой тихой картины, застонала и окончательно лишилась чувств.

— Госпоже Данглар дурно, — запинаясь, сказал Вильфор, — не перенести ли ее в экипаж?

— Бог мой! — воскликнул Монте-Кристо. — А я не захватил своего флакона!

— У меня есть свой, — сказала г-жа де Вильфор.

И она передала Монте-Кристо флакон с красной жидкостью, подобной той, благотворное действие которой граф испытал на Эдуарде.

— Вот как!.. — сказал Монте-Кристо, принимая его из рук г-жи де Вильфор.

— Да, — прошептала она, — я последовала вашим указаниям.

— И удачно?

— Мне кажется, да.

Госпожу Данглар тем временем перенесли в смежную комнату.

Монте-Кристо смочил ее губы каплей красной жидкости, и она пришла в себя.

— Какой ужасный сон! — промолвила она.

Вильфор сильно сжал ей руку, чтобы дать ей понять, что это не был сон.

Стали искать Данглара; но, мало склонный к поэтическим переживаниям, он уже давно сошел в сад и беседовал с Кавальканти-старшим о проекте железной дороги между Ливорно и Флоренцией.

Монте-Кристо, казалось, был в отчаянии; он взял г-жу Данглар под руку и провел ее в сад, где они нашли Данглара сидящим за чашкой кофе между отцом и сыном Кавальканти.

— Неужели я в самом деле так напугал вас, сударыня? — сказал Монте-Кристо.

— Нет, граф, но вы сами знаете, мы поддаемся впечатлениям в зависимости от настроения.

Вильфор пытался засмеяться.

— И в таком случае, вы понимаете, — сказал он, — достаточно простого предположения, самого химерического...

— Хотите верьте, хотите нет, — возразил Монте-Кристо, — но я убежден, что в этом доме совершилось преступление.

— Будьте осторожны, — сказала г-жа де Вильфор, — здесь присутствует королевский прокурор.

— Что ж, — ответил Монте-Кристо, — раз все так совпало, я воспользуюсь случаем, чтобы сделать заявление.

— Заявление? — сказал Вильфор.

— Да, при свидетелях.

— Все это чрезвычайно интересно, — сказал Дебрэ, — и если действительно имеется преступление, оно послужит на пользу нашему пищеварению.

— Преступление имеется, — сказал Монте-Кристо. — Прошу вас сюда, господа; прошу вас, господин де Вильфор; чтобы мое заявление было законно, я должен его сделать при надлежащем представителе власти.

Монте-Кристо взял Вильфора под руку и, прижимая к себе в то же время руку г-жи Данглар, повлек королевского прокурора к платану, туда, где тень была всего гуще.

Остальные гости последовали за ними.

— Посмотрите, — сказал Монте-Кристо — вот здесь, на этом самом месте (и он топнул ногой), чтобы дать новые соки старым деревьям, я велел их окопать и насыпать чернозему; и вот, мои рабочие, копая, наткнулись на ящичек, или, вернее, на железные части ящичка, среди которых лежал скелет новорожденного младенца. Это уже не фантазмагория, надеюсь?

Монте-Кристо почувствовал, как напрягся локоть г-жи Данглар и как дрогнула рука Вильфора.

— Новорожденного младенца? — повторил Дебрэ. — Черт возьми! Дело, по-моему, становится серьезным.

— Вот видите! — сказал Шато-Рено. — Значит, я не ошибался, когда говорил, что и у домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность. Этот дом был печален, потому что его мучила совесть, а совесть мучила его потому, что он таил преступление.

— Но почему же именно преступление? — возразил Вильфор, делая над собой последнее усилие.

— Как! Заживо похороненный в саду младенец — это, по-вашему, не преступление? — воскликнул Монте-Кристо. — Какое же вы даете название такому поступку, господин королевский прокурор?

— А откуда известно, что его похоронили заживо?

— Зачем же иначе его зарыли здесь? Этот сад никогда не служил кладбищем.

— Как у вас во Франции поступают с детоубийцами? — наивно спросил майор Кавальканти.

— Им попросту отрубают голову, — ответил Данглар.

— Ах, отрубают голову! — повторил Кавальканти.

— Кажется, так. Не правда ли, господин де Вильфор? — спросил Монте-Кристо.

— Да, граф, — ответил тот голосом, в котором уже не было ничего человеческого.

Монте-Кристо понял, что большего не в силах перенести те двое, для кого он приготовил эту сцену; он не хотел заходить слишком далеко.

— А кофе, господа! — сказал он. — Мы про него совсем забыли.

И он провел своих гостей обратно к столу, поставленному посреди лужайки.

— Право, граф, — сказала г-жа Данглар, — мне стыдно

признаться в такой слабости, но все эти ужасные истории вывели меня из равновесия; разрешите мне сесть, пожалуйста.

И она упала на стул.

Монте-Кристо поклонился ей и подошел к г-же де Вильфор.

— Мне кажется, госпожа Данглар снова нуждается в вашем флаконе, — сказал он.

Но раньше, чем г-жа де Вильфор успела подойти к своей приятельнице, королевский прокурор уже шепнул г-же Данглар:

— Нам нужно поговорить.

— Когда?

— Завтра.

— Где?

— В моем служебном кабинете... в суде, если вы ничего не имеете против; это, по-моему, самое безопасное место.

— Я приду.

В эту минуту подошла г-жа де Вильфор.

— Благодарю вас, мой друг, — сказала г-жа Данглар, пытаясь улыбнуться, — все прошло, и мне гораздо лучше.

VII. НИЩИЙ

Становилось поздно; г-жа де Вильфор заговорила о возвращении в Париж, чего не посмела сделать г-жа Данглар, несмотря на свое явное недомогание.

Итак, по просьбе своей жены, Вильфор первый подал знак к отъезду. Он предложил г-же Данглар место в своем ландо, чтобы его жена могла ухаживать за ней. Данглар, погруженный в интереснейший деловой разговор с Кавальканти, не обращал никакого внимания на происходящее.

Прося у г-жи де Вильфор флакон, Монте-Кристо заметил, как Вильфор подошел к г-же Данглар; и, понимая его положение, догадался о том, что он ей сказал, хотя тот говорил так тихо, что сама г-жа Данглар едва его расслышала.

Ни во что не вмешиваясь, граф дал сесть на лошадей и уехать Моррелю, Дебрэ и Шато-Рено, а обеим дамам отбыть в ландо Вильфора; со своей стороны, Данглар, все более приходивший в восторг от Кавальканти-отца, пригласил его к себе в карету.

Что касается Андреа Кавальканти, то он направился к ожидавшему его у ворот тильбюри с запряженной в него гро-

мадной темно-серой лошастью, которую, поднявшись на цыпочки, держал под уздцы чрезмерно англазированный грум.

За обедом Андреа говорил мало; он был очень смысленный юноша и поневоле опасался сказать какую-нибудь глупость в обществе столь богатых и влиятельных людей; к тому же его широко раскрытые глаза не без тревоги останавливались на королевском прокуроре.

Затем им завладел Данглар, который, бросив беглый взгляд на старого чопорного майора и на его довольно робкого сына и сопоставив все эти признаки с радушием Монте-Кристо, решил, что имеет дело с каким-нибудь набобом, прибывшим в Париж, чтобы усовершенствовать светское воспитание своего наследника.

Поэтому он с несказанным благоволением созерцал огромный бриллиант, сверкавший на мизинце майора, ибо майор, как человек осторожный и опытный, опасаясь, как бы ни случилось чего-нибудь с его ассигнациями, тотчас же превратил их в ценности. Затем, после обеда, под видом беседы о промышленности и путешествиях, он расспросил отца и сына об их образе жизни; а отец и сын, предупрежденные, что именно у Данглара им будет открыт текущий счет, одному на сорок восемь тысяч франков единовременно, другому — на пятьдесят тысяч ливров ежегодно, были с банкиром очаровательны и преисполнены такой любезности, что готовы были пожать руки его слугам, лишь бы дать выход переполнявшей их признательности.

То уважение — мы бы даже сказали: то благоговение, — которое Кавальканти вызвал в Дангларе, усугублялось еще одним обстоятельством. Майор, верный принципу Горация: *nil admirari*¹, удовольствовался, как мы видели, тем, что показал свою осведомленность, сообщив, в каком озере ловятся лучшие миноги. Засим он молча съел свою долю этой рыбы. И Данглар сделал вывод, что такие роскошества — обычное дело для славного потомка Кавальканти, который, вероятно, у себя в Лукке питается форелями, выписанными из Швейцарии, и лангустами, доставляемыми из Бретани тем же способом, каким граф получил миног из озера Фузаро и стерлядей с Волги.

Поэтому он с явной благосклонностью выслушал слова Кавальканти:

¹ Ничему не удивляться (*лат.*).

— Завтра, сударь, я буду иметь честь явиться к вам по делу.

— А я, сударь, — ответил Данглар, — почту за счастье принять вас.

После этого он предложил Кавальканти, если тот согласен лишиться общества сына, довести его до гостиницы Принцев.

Кавальканти ответил, что его сын уже давно привык вести жизнь самостоятельного молодого человека, имеет поэтому собственных лошадей и экипажи, и так как сюда они прибыли отдельно, то он не видит, почему бы им не уехать отсюда порознь.

Итак, майор сел в карету Данглара. Банкир уселся рядом, все более восхищаясь здоровыми суждениями этого человека о бережливости и аккуратности, что, однако, не мешало ему давать сыну пятьдесят тысяч франков в год, а для этого требовался годовой доход тысяч в пятьсот или шестьсот.

Тем временем Андреа для пушей важности разносил своего грума за то, что тот не подал лошадь к подъезду, а остался ждать у ворот и тем самым вынудил его сделать целых тридцать шагов, чтобы дойти до тильбюри.

Грум смиренно выслушал выговор; чтобы удержать лошадь, нетерпеливо бившую копытом, он схватил ее под уздцы левой рукой, а правой протянул вожжи Андреа, который взял их и занес ногу в лаковом башмаке на подножку.

В это время кто-то положил ему руку на плечо. Он обернулся, думая, что Данглар или Монте-Кристо забыли ему что-нибудь сказать и вспомнили об этом в последнюю минуту.

Но вместо них он увидел странную физиономию, опаленную солнцем, обросшую густой бородой, достойной натурщика, горящие, как уголья, глаза и насмешливую улыбку, обнажавшую тридцать два блестящих белых зуба, острых и жадных, как у волка или шакала.

Голова эта, покрытая седеющими, тусклыми волосами, была повязана красным клетчатым платком; длинное, тощее и костлявое тело было облачено в невероятно рваную и грязную блузу, и казалось, что при каждом движении этого человека его кости должны стучать, как у скелета. Рука, хлопнувшая Андреа по плечу, — первое, что он увидел, — показалась ему гигантской.

Узнал ли он при свете фонаря своего тильбюри эту физиономию, или же просто был ошеломлен ужасным видом этого человека, — мы не знаем; во всяком случае он вздрогнул и отшатнулся.

— Что вам от меня нужно? — сказал он.

— Извините, почтенный, — ответил человек, прикладывая руку к красному платку, — может быть, я вам помешал, но мне надо вам кое-что сказать.

— По ночам не просят милостыни, — сказал грум, намереваясь избавить своего хозяина от назойливого бродяги.

— Я не прошу милостыни, красавчик, — иронически улыбаясь, сказал незнакомец, и в его улыбке было что-то такое страшное, что слуга отступил, — я только хочу сказать два слова вашему хозяину, который дал мне одно поручение недели две тому назад.

— Послушайте, — сказал в свою очередь Андреа достаточно твердым голосом, чтобы слуга не заметил, насколько он взволнован, — что вам нужно? Говорите скорей, приятель.

— Мне нужно... — едва слышно произнес человек в красном платке, — мне нужно, чтобы вы избавили меня от необходимости возвращаться в Париж пешком. Я очень устал, и не так хорошо пообедал, как ты, и едва держусь на ногах.

Андреа вздрогнул, услышав это странное обращение.

— Но чего же вы хотите наконец? — спросил он.

— Хочу, чтобы ты довез меня в твоём славном экипаже.

Андреа побледнел, но ничего не ответил.

— Да, представь себе, — сказал человек в красном платке, засунув руки в карманы и вызывающе глядя на молодого человека, — мне этого хочется! Слышишь, мой маленький Бенедетто?

При этом имени Андреа, по-видимому, стал уступчивее; он подошел к груму и сказал:

— Я действительно давал этому человеку поручение, и он должен дать мне отчет. Дойдите до заставы пешком, там вы наймете кабриолет, чтобы не очень опоздать.

Удивленный слуга удалился.

— Дайте мне по крайней мере въехать в тень, — сказал Андреа.

— Ну, что до этого, я сам провожу тебя в подходящее место; вот увидишь, — сказал человек в красном платке.

Он взял лошадь под уздцы и отвел тильбюри в темный угол, где действительно никто не мог увидеть того почета, который ему оказывал Андреа.

— Это я не ради чести проехаться в хорошем экипаже, — сказал он. — Нет, я просто устал, а кстати хочу поговорить с тобой о делах.

— Ну, садитесь, — сказал Андреа.

Жаль, что было темно, потому что любопытное зрелище представляли этот оборванец, восседающий на шелковых подушках, и рядом с ним правящий лошадей элегантный молодой человек.

Андреа проехал все селение, не сказав ни слова; его спутник тоже молчал и только улыбался, как будто очень довольный тем, что пользуется таким превосходным способом передвижения.

Как только они проехали Отейль, Андреа осмотрелся, удостоверившись, что их никто не может ни видеть, ни слышать; затем он остановил лошадь и, скрестив руки на груди, повернулся к человеку в красном платке.

— Послушайте, — сказал он, — что вам от меня надо? Зачем вы нарушаете мой покой?

— Нет, ты скажи, мальчик, почему ты мне не доверяешь?

— В чем я не доверяю вам?

— В чем? Ты еще спрашиваешь? Мы с тобой расстаемся на Гарском мосту, ты говоришь мне, что отправляешься в Пьемонт и Тоскану, — и ничего подобного, ты оказываешься в Париже!

— А чем это вам мешает?

— Да ничем; наоборот, я надеюсь, что это будет мне на пользу.

— Вот как! — сказал Андреа. — Вы, значит, намерены на мне спекулировать?

— Ну, зачем такие громкие слова!

— Предупреждаю вас, что это напрасно, дядя Кадрусс.

— Да ты не сердись, малыш; ты сам должен знать, что значит несчастье; ну, а несчастье делает человека завистливым. Я-то воображаю, что ты бродишь по Пьемонту и Тоскане и тянешь лямку чичероне или носильщика; я всей душой жалею тебя, как жалел бы родного сына. Ты же помнишь, я всегда тебя звал сыном.

— Ну, а дальше? Дальше что?

— Ах ты, порох! Потерпи немного.

— Я и так терпелив. Ну, кончайте.

— И вдруг я встречаю тебя у заставы, в тильбюри с грумом, одетого с иголки. Ты, что же, нашел золотоносную жилу или купил маклерский патент?

— Значит, вы завидуете?

— Нет, я просто доволен, так доволен, что захотел по-

здравить тебя, малыш; но я был недостаточно прилично одет, и потому принял меры предосторожности, чтобы не компрометировать тебя.

— Хороши меры предосторожности! — сказал Андреа. — Заговорить со мной при слуге!

— Что поделаешь, сынок; заговорил, когда удалось встретиться. Лошадь у тебя быстрая, экипаж легкий, и сам ты скользкий, как угорь; упусти я тебя сегодня, я бы тебя, пожалуй, уже больше не поймал.

— Вы же видите, я вовсе не прячусь.

— Это твое счастье, я очень бы хотел сказать то же про себя; а вот я прячусь. К тому же я боялся, что ты меня не узнаешь; но ты меня узнал, — прибавил Кадрусс с гаденькой улыбочкой, — это очень мило с твоей стороны.

— Ну, хорошо, — сказал Андреа, — что же вы хотите?

— Ты говоришь мне «вы»; это нехорошо, Бенедетто, ведь я твой старый товарищ; смотри, я стану требовательным.

Эта угроза охладила гнев Андреа; он чувствовал, что вынужден уступить.

Он снова пустил лошадь рысью.

— С твоей стороны нехорошо так обращаться со мной, Кадрусс, — сказал он. — Ты сам говоришь, что мы старые товарищи, ты марседец, я...

— Так ты теперь знаешь, кто ты?

— Нет, но я вырос на Корсике. Ты стар и упрям, я молод и неуступчив. Плохо, если мы начнем угрожать друг другу, нам лучше все решать полюбовно. Чем я виноват, что судьба мне улыбнулась, а тебе по-прежнему не везет?

— Так тебе вправду повезло? Значит, и этот грум, и тильбюри, и платье не взяты напрокат? Что ж, тем лучше! — сказал Кадрусс с блестящими от жадности глазами.

— Ты сам это отлично видишь и понимаешь, раз ты заговорил со мной, — сказал Андреа, все больше волнуясь. — Будь у меня на голове платок, как у тебя, грязная блуза на плечах и дырявые башмаки на ногах, ты не стремился бы узнать меня.

— Вот видишь, как ты меня презираешь, малыш. Нехорошо! Теперь, когда я тебя нашел, ничто не мешает мне одеться в лучшее сукно. Я же знаю твое доброе сердце: если у тебя два костюма, ты отдашь один мне; ведь я отдавал тебе свою порцию супа и бобов, когда ты уж очень хотел есть.

— Это верно, — сказал Андреа.

— И аппетит же у тебя был! У тебя все еще хороший аппетит?

— Ну, конечно, — сказал, смеясь, Андреа.

— Воображаю, как ты пообедал сейчас у этого князя!

— Он не князь, он только граф.

— Граф? Богатый?

— Да, но не рассчитывай на него; с этим господином не так легко иметь дело.

— Да ты не беспокойся! Твоего графа никто не трогает, можешь оставить его себе. Но, конечно, — прибавил Кадрусс, на губах которого снова появилась та же отвратительная улыбка, — за это тебе придется раскошелиться.

— Ну, сколько же тебе нужно?

— Думаю, что на сто франков в месяц...

— Ну?

— Я смогу существовать...

— На сто франков?

— Плохо, конечно, ты сам понимаешь, но...

— Но?

— На сто пятьдесят франков я отлично устроюсь.

— Вот тебе двести, — сказал Андреа.

И он положил в руку Кадрусса десять луидоров.

— Хорошо, — сказал Кадрусс.

— Заходи к швейцару каждое первое число, и ты будешь получать столько же.

— Ну вот, ты опять меня унижаешь!

— Как так?

— Заставляешь меня обращаться к челяди. Нет, знаешь, ли, я хочу иметь дело только с тобой.

— Хорошо, приходи ко мне, и каждое первое число, во всяком случае пока мне будут выплачивать мои доходы, ты будешь получать свое.

— Ну, ну, я вижу, что не ошибся в тебе. Ты славный малый, хорошо, когда удача выпадает на долю таких людей. А Расскажи, каким образом тебе повезло?

— Зачем тебе это знать? — спросил Кавальканти.

— Опять недоверие!

— Нисколько. Я разыскал своего отца.

— Настоящего отца?

— Ну... поскольку он дает мне деньги...

— Постольку ты веришь и уважаешь, правильно. А как зовут твоего отца?

— Майор Кавальканти.

— И он тобой доволен?

— Пока что, видимо, доволен.

— А кто тебе помог разыскать его?

— Граф Монте-Кристо.

— У которого ты сейчас был?

— Да.

— Послушай, постарайся пристроить меня к нему дедушкой, раз он этим занимается.

— Пожалуй, я поговорю с ним о тебе; а пока что ты будешь делать?

— Я?

— Да, ты.

— Очень мило, что ты беспокоишься об этом, — сказал Кадрусс.

— Мне кажется, — возразил Андреа, — раз ты интересуешься мною, я тоже имею право кое о чем спросить.

— Верно... Я сниму комнату в приличном доме, оденусь как следует, буду каждый день бриться и ходить в кафе читать газеты. По вечерам буду ходить в театр с какой-нибудь компанией клакеров. Вообще приму вид булочника, удалившегося на покой; я всегда мечтал об этом.

— Что ж, это хорошо. Если ты исполнишь свое намерение и будешь благоразумен, все пойдет чудесно.

— Посмотрите на этого Боссюэ!..¹ Ну а ты кем станешь? Пэрром Франции?

— Все возможно! — сказал Андреа.

— Майор Кавальканти, может быть, и пэр... но, к сожалению, наследственность в этом деле упразднена.

— Пожалуйста, без политики, Кадрусс!.. Ну вот, ты получил, что хотел, и мы приехали, а потому вылезай и исчезни.

— Ни в коем случае, милый друг!

— То есть как?

— Посуди сам, малыш; на голове красный платок, сапоги без подметок, никаких документов — и в кармане десять луидоров, не считая того, что там уже было; в общем ровно двести франков. Да меня у заставы непременно арестуют! Чтобы оправдаться, я должен буду заявить, что это ты дал мне десять луидоров; начнется дознание, следствие; узнают, что я покинул Тулон, ни у кого не спросясь, и меня погонят по этапу до

¹ Знаменитый проповедник XVII века.

самого Средиземного моря. И я снова стану просто номер сто шесть, и прощай мои мечты походить на булочника, удалившегося на покой! Ни в коем случае, сынок; я предпочитаю достойно жить в столице.

Андреа нахмурился; мнимый сын майора Кавальканти был, как он сам признался, очень упрям. Он остановил лошадь, быстро огляделся, и, пока его взор пытливо скользил по сторонам, рука его точно ненароком опустилась в карман и нащупала курок карманного пистолета.

Но в то же время Кадрусс, ни на минуту не спускавший глаз со своего спутника, заложил руки за спину и тихонько раскрыл длинный испанский нож, который он на всякий случай всегда носил с собой.

Приятели явно были достойны друг друга и поняли это; Андреа мирно извлек руку из кармана и стал поглаживать свои рыжие усы.

— Наконец-то ты заживешь счастливо, дружище Кадрусс, — сказал он.

— Постараюсь сделать все возможное для этого, — ответил трактирщик с Гарского моста, снова складывая нож.

— Ладно, едем в Париж. Но как ты проедешь заставу, не вызывая подозрений? Мне кажется, в таком костюме ты еще больше рискуешь, сидя в экипаже, чем шагая пешком.

— Погоди, — сказал Кадрусс, — сейчас увидишь.

Он надел шляпу Андреа, накинул плащ с большим воротником, оставленный грумом в экипаже, и принял сосредоточенный вид, подобающий слуге из хорошего дома, когда хозяин сам правит лошастью.

— А я что же, так и поеду с непокрытой головой? — сказал Андреа.

— Эка важность! — фыркнул Кадрусс. — Сегодня такой ветер, что у тебя могла слететь шляпа.

— Ладно, — сказал Андреа, — покончим с этим.

— Да кто ж тебе мешает? — сказал Кадрусс. — Не я, надеюсь?

— Шш... — прошептал Кавальканти.

Заставу миновали благополучно.

Доехав до первой улицы, Андреа остановил лошадь, и Кадрусс спрыгнул на землю.

— Позволь, — сказал Андреа, — а плащ, а моя шляпа?

— Ты же не хочешь, чтобы я простудился, — отвечал Кадрусс.

— А как же я?

— Ты молод, а я уже становлюсь стар; до свидания, Бенедетто!

И он исчез в переулке.

— Увы, — сказал со вздохом Андреа, — неужели на земле невозможно полное счастье?

VIII. СЕМЕЙНАЯ СЦЕНА

Доехав до площади Людовика XV, молодые люди расстались: Моррель направился к бульварам, Шато-Рено к мосту Революции, а Дебрэ поехал по набережной.

Моррель и Шато-Рено, по всей вероятности, вернулись к своим домашним очагам, как еще до сих пор говорят с трибуны Палаты в красиво построенных речах и на сцене театра улицы Ришелье в красиво написанных пьесах, но Дебрэ поступил иначе. У ворот Лувра он повернул налево, рысью пересек Карусельную площадь, направился по улице Сен-Рок, повернул на улицу Мишодьер и подъехал к дому Данглар как раз в ту минуту, когда ландо Вильфора, завезя его самого с женой в предместье Сент-Оноре, доставило домой баронессу.

Дебрэ, как свой человек в доме, первый въехал во двор, бросил поводья лакею, а сам вернулся к экипажу, помог г-же Данглар сойти и взял ее под руку, чтобы проводить в комнаты.

Как только ворота закрылись и баронесса вместе с Дебрэ очутились во дворе, он сказал:

— Что с вами, Эрмина? Почему вам стало дурно, когда граф рассказывал эту историю, или, вернее, эту сказку?

— Потому, что я вообще отвратительно себя чувствовала сегодня, мой друг, — ответила баронесса.

— Да нет же, Эрмина, — возразил Дебрэ, — я никогда этому не поверю. Наоборот, вы были прекрасно настроены, когда приехали к графу. Правда, господин Данглар был немного не в духе; но я ведь знаю, как мало вы обращаете внимания на его дурное настроение. Кто-то вас расстроил. Расскажите мне, в чем дело, вы же знаете, я не потерплю, чтобы вас обидели.

— Уверяю вас, Люсьен, вы ошибаетесь, — сказала госпожа Данглар, — все дело просто в самочувствии, как я вам сказала, да еще в дурном настроении, которое вы заметили и о котором я не считала нужным вам говорить.

Было очевидно, что г-жа Данглар находится во власти того нервного возбуждения, в котором женщины часто сами

не отдают себе отчета, или же что она, как угадал Дебрэ, испытала какое-нибудь скрытое потрясение, в котором не хотела никому сознаться. Дебрэ, привыкший считаться с беспричинной нервозностью, как с одним из элементов женской натуры, перестал настаивать и решил ждать благоприятной минуты, когда можно будет снова задать этот вопрос или когда ей самой вздумается признаться.

У дверей своей спальни баронесса встретила мадемуазель Корнели, свою доверенную камеристку.

— Что делает моя дочь? — спросила г-жа Данглар.

— Весь вечер занималась, а потом легла, — ответила мадемуазель Корнели.

— Но, мне кажется, кто-то играет на рояле?

— Это играет мадемуазель д'Армилли, а мадемуазель Эжени лежит в постели.

— Хорошо, — сказала г-жа Данглар, — помогите мне раздеться.

Вошли в спальню. Дебрэ растянулся на широком диване, а г-жа Данглар вместе с мадемуазель Корнели прошла в свою уборную.

— Скажите, Люсьен, — спросила через дверь г-жа Данглар, — Эжени по-прежнему не желает с вами разговаривать?

— Не я один на это жалуюсь, сударыня, — сказал Люсьен, играя с собачкой баронессы; она признавала его за друга дома и всегда ласкалась к нему. — Помнится, я слышал на днях у вас, как Морсер сетовал, что не может добиться ни слова от своей невесты.

— Это верно, — сказала г-жа Данглар, — но я думаю, что скоро все изменится и Эжени явится к вам в кабинет.

— Ко мне в кабинет?

— Я хочу сказать — в кабинет министра.

— Зачем?

— Чтобы попросить вас устроить ей ангажемент в оперу. Право, я никогда не видела такого пристрастия к музыке. Для девушки из общества это смешно!

Дебрэ улыбнулся.

— Ну что ж, — сказал он, — пусть приходит, раз вы и барон согласны. Мы устроим ей этот ангажемент и постараемся, чтобы он соответствовал ее достоинствам, хотя мы слишком бедны, чтобы оплачивать такой талант, как у нее.

— Можете идти, Корнели, — сказала г-жа Данглар, — вы мне больше не нужны.

Корнели удалилась, и через минуту г-жа Данглар вышла из уборной в очаровательном неглиже. Она села рядом с Люсьеном и стала задумчиво гладить болонку.

Люсьен молча смотрел на нее.

— Слушайте, Эрмина, — сказал он наконец, — скажите откровенно: вы чем-то огорчены, правда?

— Нет, ничем, — возразила баронесса.

Но ей было душно, она встала, попыталась вздохнуть полной грудью и подошла к зеркалу.

— Я сегодня похожа на пугало, — сказала она.

Дебрэ, улыбаясь, встал, чтобы подойти к баронессе и успокоить ее на этот счет, как вдруг дверь открылась.

Вошел Данглар; Дебрэ снова опустился на диван.

Услышав шум открывающейся двери, г-жа Данглар обернулась и взглянула на своего мужа с удивлением, которое даже не старалась скрыть.

— Добрый вечер, сударыня, — сказал банкир. — Добрый вечер, господин Дебрэ.

По-видимому, баронесса объяснила себе это неожиданное посещение тем, что барон пожелал загладить колкости, которые несколько раз за этот день вырывались у него.

Она приняла гордый вид и, не отвечая мужу, обернулась к Люсьену.

— Почитайте мне что-нибудь, господин Дебрэ, — сказала она.

Дебрэ, которого этот визит сначала несколько встревожил, успокоился, видя невозмутимость баронессы, и потянул руку к книге, заложенной перламутровым ножом с золотой инкрустацией.

— Прошу прощения, — сказал банкир, — но вы утомлены, баронесса, и вам пора отдохнуть; уже одиннадцать часов, а господин Дебрэ живет очень далеко.

Дебрэ остолбенел; и не потому, чтобы тон Данглара не был вежливым и спокойным, — но за этой вежливостью и спокойствием сквозила непривычная готовность не считаться на сей раз с желаниями жены.

Баронесса тоже была изумлена и выразила свое удивление взглядом, который, вероятно, заставил бы ее мужа задуматься, если бы его глаза не были устремлены на газету, где он искал биржевой бюллетень.

Таким образом, этот гордый взгляд пропал даром и совершенно не достиг цели.

— Господин Дебрэ, — сказала баронесса, — имейте в виду, что у меня нет ни малейшей охоты спать, что мне о многом надо рассказать вам и что вам придется слушать меня всю ночь, как бы вас ни клонило ко сну.

— К вашим услугам, сударыня, — флегматично ответил Люсьен.

— Дорогой господин Дебрэ, — вмешался банкир, — прошу вас, избавьте себя сегодня от болтовни г-жи Данглар; вы с таким же успехом можете выслушать ее и завтра. Но сегодняшняя вечер принадлежит мне, я оставляю его за собой и посвящаю его, с вашего разрешения, серьезному разговору с моей женой.

На этот раз удар был такой прямой и направлен так метко, что он ошеломил Люсьена и баронессу; они переглянулись, как бы желая найти друг в друге опору против этого нападения; но непререкаемая власть хозяина дома восторжествовала, и победа осталась за мужем.

— Не подумайте только, что я вас гоню, дорогой Дебрэ, — продолжал Данглар, — вовсе нет, ни в коем случае! Но ввиду непредвиденных обстоятельств мне необходимо сегодня же переговорить с баронессой: это случается не так часто, чтобы на меня за это сердиться.

Дебрэ пробормотал несколько слов, раскланялся и вышел, наталкиваясь на мебель, как Натан в «Аталии».

— Просто удивительно, — сказал он себе, когда за ним закрылась дверь, — до чего эти мужья, которых мы всегда высмеиваем, легко берут над нами верх!

Когда Люсьен ушел, Данглар занял его место на диване, захлопнул книгу, оставшуюся открытой, и, приняв невероятно натянутую позу, тоже стал играть с собачкой. Но так как собачка, не относившаяся к нему с такой симпатией, как к Дебрэ, хотела его укусить, он взял ее за загривок и отшвырнул в противоположный конец комнаты на кушетку.

Собачка на лету завизжала, но, оказавшись на кушетке, забилась за подушку и, изумленная таким непривычным обращением, замолкла и не шевелилась.

— Вы делаете успехи, сударь, — сказала, не сморгнув, баронесса. — Обычно вы просто грубы, но сегодня вы ведете себя, как животное.

— Это оттого, что у меня сегодня настроение хуже, чем обычно, — отвечал Данглар.

Эрмина взглянула на банкира с величайшим презрением.

Эта манера бросать презрительные взгляды обычно выводила из себя заносчивого Данглара; но сегодня он, казалось, не обратил на это никакого внимания.

— А мне какое дело до вашего плохого настроения? — отвечала баронесса, возмущенная спокойствием мужа. — Это меня не касается. Сидите со своим плохим настроением у себя или проявляйте его в своей конторе; у вас есть служащие, которым вы платите, вот и срывайте на них свои настроения!

— Нет, сударыня, — отвечал Данглара, — ваши советы неуместны, и я не желаю их слушать. Моя контора — это моя золотоносная река, как говорит, кажется, господин Демутье, и я не намерен мешать ее течению и мутить ее воды. Мои служащие — честные люди, помогающие мне наживать состояние, и я плачу им неизмеримо меньше, чем они заслуживают, если оценивать их труд по его результатам. Мне не за что на них сердиться, зато меня сердят люди, которые кормятся моими обедами, загоняют моих лошадей и опустошают мою кассу.

— Что же это за люди, которые опустошают вашу кассу? Скажите яснее, прошу вас.

— Не беспокойтесь, если я и говорю загадками, то вам не придется долго искать ключ к ним, — возразил Данглара. — Мою кассу опустошают те, кто за один час вынимают из нее пятьсот тысяч франков.

— Я вас не понимаю, — сказала баронесса, стараясь скрыть дрожь в голосе и краску на лице.

— Напротив, вы прекрасно понимаете, — сказал Данглара, — но раз вы упорствуете, я скажу вам, что я потерял на испанском займе семьсот тысяч франков.

— Вот как? — насмешливо сказала баронесса. — И вы обвиняете в этом меня?

— Почему бы нет?

— Я виновата, что вы потеряли семьсот тысяч франков?

— Во всяком случае не я.

— Раз навсегда, сударь, — резко возразила баронесса, — я запретила вам говорить со мной о деньгах; к этому языку я не привыкла ни у моих родителей, ни в доме моего первого мужа.

— Охотно верю, — сказал Данглара, — все они не имели ни гроша за душой.

— Тем более я не могла познакомиться с вашим банковским жаргоном, который мне здесь режет ухо с утра до вече-

ра. Ненавижу звон монет, которые считают и пересчитывают. Не знаю, что может быть противнее, — разве только звук вашего голоса!

— Вот странно, — сказал Данглар. — А я думал, что вы очень даже интересуетесь моими денежными операциями.

— Я? Что за нелепость! Кто вам это сказал?

— Вы сами.

— Бросьте!

— Разумеется.

— Интересно знать, когда это было.

— Сейчас скажу. В феврале вы первая заговорили со мной о гаитийском займе; вы будто бы видели во сне, что в гаврский порт вошло судно и привезло известие об уплате долга, который считали отложенным до второго пришествия. Я знаю, что вы склонны к ясновидению; поэтому я велел потихоньку скупить все облигации гаитийского займа, какие только можно было найти, и нажил четыреста тысяч франков; из них сто тысяч были честно переданы вам. Вы истратили их, как хотели, я в это не вмешивался.

В марте шла речь о железнодорожной концессии. Конкурентами были три компании, предлагавшие одинаковые гарантии. Вы сказали мне, будто ваше внутреннее чутье подсказывает вам, что предпочтение будет оказано так называемой Южной компании.

Ну, хоть вы и утверждаете, что дела вам чужды, однако, мне кажется, ваше внутреннее чутье весьма изощрено в некоторых вопросах.

Итак, я немедленно записал на себя две трети акций Южной компании. Предпочтение действительно было оказано ей; как вы и предвидели, акции поднялись втрое, и я нажил на этом миллион, из которого двести пятьдесят тысяч франков были переданы вам на булавки. А на что вы употребили эти двести пятьдесят тысяч франков?

— Но к чему вы клоните, наконец? — воскликнула баронесса, дрожа от досады и возмущения.

— Терпение, сударыня, я сейчас кончу.

— Слава богу!

— В апреле вы были на обеде у министра; там говорили об Испании, и вы случайно услышали секретный разговор: речь шла об изгнании Дон Карлоса. Я купил испанский заем. Изгнание совершилось, и я нажил шестьсот тысяч франков в тот день, когда Карл Пятый перешел Бидассоу. Из этих шестисот тысяч франков вы получили пятьдесят тысяч экю; они

были ваши, вы распорядились ими по своему усмотрению, и я не спрашиваю у вас отчета. Но как-никак в этом году вы получили пятьсот тысяч ливров.

— Ну, дальше?

— Дальше? В том-то и беда, что дальше дело пошло хуже.

— У вас такие странные выражения...

— Они передают мою мысль — это все, что мне надо...

Дальше — это было три дня тому назад. Три дня назад вы беседовали о политике с Дебрэ, и из его слов вам показалось, что Дон Карлос вернулся в Испанию; тогда я решаю продать свой заем; новость облетает всех, начинается паника, я уже не продаю, а отдаю даром; на следующий день оказывается, что известие было ложное, и из-за этого ложного известия я потерял семьсот тысяч франков.

— Ну, и что же?

— А то, что если я вам даю четвертую часть своего выигрыша, то вы должны мне возместить четвертую часть моего проигрыша; четвертая часть семисот тысяч франков — это сто семьдесят пять тысяч франков.

— Но вы говорите чистейший вздор, и я, право, не понимаю, почему вы ко всей этой истории приплели имя Дебрэ.

— Да потому, что, если у вас случайно не окажется ста семидесяти пяти тысяч франков, которые мне нужны, вам придется занять их у ваших друзей, а Дебрэ ваш друг.

— Какая гадость! — воскликнула баронесса.

— Пожалуйста, без громких фраз, без жестов, без современной драмы, сударыня. Иначе я буду вынужден сказать вам, что я отсюда вижу, как Дебрэ посмеивается, пересчитывая пятьсот тысяч ливров, которые вы ему передали в этом году, и говорит себе, что наконец нашел то, чего не могли найти самые ловкие игроки: рулетку, в которую выигрывают, ничего не ставя и не теряя при проигрыше.

Баронесса вышла из себя.

— Негодяй, — воскликнула она, — посмейте только сказать, что вы не знали того, в чем вы осмеливаетесь меня сегодня упрекнуть!

— Я не говорю, что знал, и не говорю, что не знал. Я только говорю: припомните мое поведение за те четыре года, что вы мне больше не жена, а я вам больше не муж, и вы увидите, насколько оно логично. Незадолго до нашего разрыва вы пожелали заниматься музыкой с этим знаменитым баритоном, который столь успешно дебютировал в Итальянском театре, а я решил научиться танцевать под руководст-

вом танцовщицы, так прославившейся в Лондоне. Это мне обошлось, за вас и за себя, примерно в сто тысяч франков. Я ничего не сказал, потому что в семейной жизни нужна гармония. Сто тысяч франков за то, чтобы муж и жена основательно изучили музыку и танцы, — это не так уж дорого. Вскоре музыка вам надоела, и у вас является желание изучать дипломатическое искусство под руководством секретаря министра; я предоставляю вам изучать его. Понимаете, мне нет дела до этого, раз вы сами оплачиваете свои уроки. Но теперь я вижу, что вы обращаетесь к моей кассе и что ваше образование может мне стоить семьсот тысяч франков в месяц. Стоп, сударыня, так продолжаться не может. Либо дипломат будет давать вам уроки... даром, и я буду терпеть его, либо ноги его больше не будет в моем доме. Понятно, сударыня?

— Это уже слишком, сударь! — воскликнула, задыхаясь, Эрмина. — Это гнусно! Вы переходите все границы!

— Но я с удовольствием вижу, — сказал Данглар, — что вы от меня не отстаёте и по доброй воле исполняете заповедь: «Жена да последует за своим мужем».

— Вы оскорбляете меня!

— Вы правы. Прекратим это и поговорим спокойно. Я лично никогда не вмешивался в ваши дела, разве только для вашего блага; последуйте моему примеру. Вы говорите, мои средства вас не касаются? Отлично; распоряжайтесь своими собственными, а моих не умножайте и не умаляйте. Впрочем, может быть, все это просто предательский трюк? Министр взбешен тем, что я в оппозиции, и завидует моей популярности, — может быть, он сговорился с Дебрэ разорить меня?

— Как это правдоподобно!

— Очень даже. Где же это видано... ложное телеграфное известие — вещь невозможная или почти невозможная. Два последних телеграфа подали сигналы, совершенно отличные от остальных... Право, это как будто нарочно для меня сделано.

— Вы же знаете, кажется, — сказала уже более смиренно баронесса, — что этого чиновника прогнали и даже собирались судить; был уже отдан приказ о его аресте, но чиновник скрылся. Его бегство доказывает, что он или сумасшедший, или преступник... Нет, это была ошибка.

— Да, и над этой ошибкой смеются глупцы, она стоит бессонной ночи министру, из-за нее господа государственные секретари марают бумагу, но мне она обходится в семьсот тысяч франков.

— Но, послушайте, — вдруг заявила Эрмина, — раз все это, по-вашему, исходит от Дебрэ, почему вы говорите это мне, а не самому Дебрэ? Почему вы обвиняете мужчину, а ответа спрашиваете с женщины?

— Разве я знаю Дебрэ? — сказал Данглар. — Разве я хочу его знать? Разве я должен знать, что это он дает советы? Разве я желаю им следовать? Разве я играю на бирже? Нет, все это относится к вам, а не ко мне.

— Но раз вам это выгодно...

Данглар пожал плечами.

— До чего глупы женщины! Считают себя гениальными, если им удалось так провести одну или десять любовных интриг, чтобы о них не говорил весь Париж. Но имейте в виду, что даже если бы вы сумели скрыть свои похождения от мужа, — а это проще всего, потому что в большинстве случаев мужа просто не желают видеть, — то и тогда вы были бы лишь жалкой копией половины ваших светских приятельниц. Но и этого нет: я всегда все знал; за шестнадцать лет вы, может быть, сумели скрыть от меня какую-нибудь мысль, но ни одного движения, ни одного поступка, ни одной провинности. Вы восхищались своей ловкостью и были твердо уверены, что обманываете меня, — а что получилось? Благодаря моему притворному неведению среди ваших друзей, от де Вильфора до Дебрэ, не было ни одного, кто не боялся бы меня. Не было ни одного, кто не считался бы со мной как с хозяином дома, — единственное, чего я от вас требую; наконец, ни один не посмел бы говорить с вами обо мне так, как я сам говорю сейчас. Можете изображать меня отвратительным, но я не позволю вам делать меня смешным, а главное — я категорически запрещаю вам разорять меня.

Пока не было произнесено имя Вильфора, баронесса еще кое-как держалась; но при этом имени она побледнела и, точно движимая какой-то пружиной, встала, протянула руки, словно заклиная привидение, и шагнула к мужу, как бы желая вырвать у него последнее слово тайны, которой он сам не знал или, быть может, из какого-нибудь расчета, гнусного, как почти все расчеты Данглара, не хотел окончательно выдать.

— Вильфор? Что это значит? Что вы хотите сказать?

— Это значит, сударыня, что господин де Наргон, ваш первый муж, не будучи ни философом, ни банкиром, а быть может, будучи и тем и другим и увидав, что не может извлечь никакой пользы из королевского прокурора, умер от горя или

гнева, застав вас после девятимесячного отсутствия на шестом месяце беременности. Я груб, я не только знаю это, но горжусь этим; это одно из средств, которыми я достигаю успеха в коммерческих операциях. Почему, вместо того чтобы самому убить, он допустил, чтобы его убили? Потому что у него не было капитала, который требовалось бы защищать. А я принадлежу своему капиталу. По вине моего компаньона Дебрэ я потерял семьсот тысяч франков. Пусть он внесет свою долю убытка, и мы будем продолжать вести дело вместе; или же пусть объявит себя несостоятельным должником этих ста семидесяти пяти тысяч франков и сделает то, что делают банкроты: пусть исчезнет. Да, конечно, я знаю — это очаровательный молодой человек, когда его сведения верны; но если они неверны, то в обществе найдется пятьдесят других, которые стоят больше, чем он.

Госпожа Данглар была уничтожена; все же она сделала последнее усилие, чтобы ответить на этот выпад. Она упала в кресло, думая о Вильфоре, о том, что произошло за обедом, об этой странной цепи несчастий, которые в последние дни одно за другим обрушивались на ее дом, превращая уютный покой ее семейной жизни в неприличные ссоры.

Данглар даже не взглянул на нее, хотя она изо всех сил старалась лишиться чувств. Не сказав больше ни слова, он закрыл за собой дверь спальни и прошел к себе; так что г-жа Данглар, очнувшись от своего полуобморока, могла подумать, что ей приснился дурной сон.

IX. БРАЧНЫЕ ПЛАНЫ

На следующий день после этой сцены, в тот час, когда Дебрэ по дороге в министерство обычно заезжал к г-же Данглар, его карета не въехала во двор.

В этот самый час, а именно в половине первого, г-жа Данглар приказала подать экипаж и выехала из дому.

Данглар, спрятавшись за занавеской, следил за этим отъездом, которого он ожидал. Он распорядился, чтобы ему доложили, как только г-жа Данглар вернется, но и к двум часам она еще не вернулась.

В два часа он потребовал лошадей, поехал в Палату и записался в число ораторов, собиравшихся возражать против бюджета.

От двенадцати до двух Данглар безвыходно сидел у себя в

кабинете, все более хмурясь, читал депеши, подсчитывал бесконечные цифры и принимал посетителей, в том числе майора Кавальканти, который, как всегда, багровый, чопорный и пунктуальный, явился в условленный накануне час, чтобы покончить свои дела с банкиром.

Выйдя из Палаты, Данглар, во время заседания чрезвычайно волновавшийся и резче, чем когда-либо, нападавший на министерство, сел в свой экипаж и велел кучеру ехать на авеню Елисейских Полей, № 30.

Монте-Кристо был дома, но у него кто-то сидел, и он попросил Данглара подождать несколько минут в гостиной.

Пока банкир сидел в ожидании, дверь отворилась, и вошел человек в одежде аббата; будучи, по-видимому, короче знаком с хозяином, он не остался ждать, как Данглар, а поклонился ему, прошел во внутренние комнаты и скрылся.

Почти сейчас же та дверь, за которой исчез священник, открылась снова, и появился Монте-Кристо.

— Простите, дорогой барон, — сказал он. — Видите ли, в Париж только что прибыл один из моих добрых друзей, аббат Бузони; вы, вероятно, заметили его, он здесь проходил. Мы давно не видались, и у меня не хватило духу сразу же с ним расстаться. Надеюсь, вы меня поймете и извините, что я заставил вас ждать.

— Помилуйте, — сказал Данглар, — это так естественно; я попал не вовремя и сейчас же удалюсь.

— Ничего подобного, напротив, присаживайтесь, пожалуйста. Но, боже правый, что это с вами? У вас такой озабоченный вид; вы меня просто пугаете. Опечаленный капиталист подобен комете, он тоже всегда предвещает миру несчастье.

— Дело в том, дорогой граф, что меня уже несколько дней преследуют неудачи, и я все время получаю дурные вести.

— Ужасно! — сказал Монте-Кристо. — Вы опять проиграли на бирже?

— Нет, это я бросил, по крайней мере на некоторое время; на этот раз просто одно банкротство в Триесте.

— Вот как? Вы, вероятно, говорите о банкротстве Джакомо Манфреди?

— Совершенно верно. Представьте себе, человек, который, не помню уже с каких пор, ведет со мной дела на восемьсот-девятьсот тысяч франков ежегодно. Ни разу ни одной задержки, ни одного недочета; человек расплачивался,

как князь... который платит. Я авансую ему миллион, и вдруг этот чертов Джакомо Манфреди приостанавливает платежи!

— В самом деле?

— Неслыханное несчастье. Я выдаю на него переводный вексель на шестьсот тысяч ливров, который возвращается неоплаченным, да кроме того, у меня лежит на четыреста тысяч франков его векселей сроком на конец этого месяца, которые должен оплатить его парижский корреспондент. Сегодня тридцатое, я посылаю за деньгами; не тут-то было, корреспондент скрылся. Считаю еще испанскую историю, я славно заканчиваю этот месяц.

— Но разве вы так много потеряли на этой испанской истории?

— Разумеется, у меня вылетело семьсот тысяч франков, ни больше ни меньше.

— Как же вы, черт возьми, так попались? Ведь вы матерый волк.

— Это все жена. Ей приснилось, что Дон Карлос вернулся в Испанию, а она верит снам. Она говорит, что это магнетизм, и когда видит что-нибудь во сне, то уверяет, что все непременно так и будет. Я позволил ей сыграть, как она считает нужным; у нее свои средства и свой собственный маклер. Она сыграла и проиграла. Правда, она играла не на мои деньги, а на свои. Но вы понимаете, когда жена проигрывает семьсот тысяч франков, это немного отзывается и на муже. Как, вы этого не знали? Это было злобой дня.

— Я слышал об этом, но не знал подробностей; к тому же я совершенный профан в биржевых делах.

— Вы совсем не играете?

— Я? Когда же мне играть? Я и так едва справляюсь с подсчетом моих доходов. Мне пришлось бы, кроме управляющего, завести еще конторщика и кассира. Но, кстати, об Испании; мне кажется, баронесса могла не только во сне видеть возвращение Дон Карлоса. Разве об этом не говорилось в газетах?

— Ни на грош.

— Но этот честный «Вестник», кажется, исключение из правила и сообщает только достоверные сведения, телеграфные сообщения.

— Вот это и непонятно, — возразил Данглар. — Ведь из-

вестию о возвращении Дон Карлоса было действительно получено по телеграфу.

— Так что за этот месяц, — сказал Монте-Кристо, — вы потеряли примерно миллион семьсот тысяч франков?

— И не примерно, а в точности.

— Черт возьми! Для третьестепенного состояния это жестокий удар, — сочувственно заметил Монте-Кристо.

— То есть как это третьестепенного? — сказал Данглар, несколько обиженный.

— Да конечно, — продолжал Монте-Кристо, — на мой взгляд, есть три категории богатства: первостепенные состояния, второстепенные и третьестепенные. Я называю первостепенным состоянием такое, которое складывается из ценностей, находящихся под рукой: земли, рудники, государственные бумаги таких держав, как Франция, Австрия и Англия, если только эти ценности, рудники и бумаги составляют в общем сумму в сто миллионов. Второстепенным состоянием я называю промышленные предприятия, акционерные компании, наместничества и княжества, дающие не более полутора миллиона годового дохода, при капитале не свыше пятидесяти миллионов. Наконец, третьестепенное состояние — это капиталы, пущенные в оборот, доходы, зависящие от чужой воли или игры случая, которым чье-нибудь банкротство может нанести ущерб, которые может поколебать телеграфное сообщение, случайные спекуляции, — словом, дела, зависящие от удачи, которую можно назвать низшей силой, если ее сравнивать с высшей силой — силой природы; они составляют в общем фиктивный или действительный капитал миллионов в пятнадцать. Ведь ваше положение именно таково, правда?

— Верно, — ответил Данглар.

— Из этого следует, — невозмутимо продолжал Монте-Кристо, — что, если шесть месяцев кряду будут заканчиваться так же, как и этот, третьестепенная фирма окажется при последнем издыхании.

— Ну, уж вы скажете! — протянул Данглар, невесело улыбаясь.

— Скажем, семь месяцев, — продолжал тем же тоном Монте-Кристо. — Скажите, вы когда-нибудь задумывались над тем, что семь раз миллион семьсот тысяч франков — это почти двенадцать миллионов?.. Нет, никогда? И хорошо делали, потому что после таких размышлений уже не станешь

рисковать своими капиталами, которые для финансиста все равно что кожа для цивилизованного человека. Мы носим более или менее пышные одежды, и они придают нам вес; но когда человек умирает, у него остается только его кожа. Так и вы, бросив дела, останетесь при вашем действительном состоянии, то есть самое большое при пяти или шести миллионах; ибо третьестепенные состояния представляют в сущности только треть или четверть своей видимости, как железнодорожный локомотив — всего лишь более или менее сильная машина, хоть он и кажется огромным в клубах дыма. Ну так вот, из вашего действительного актива в пять миллионов вы только что лишились почти двух; соответственно уменьшилось и ваше фиктивное состояние, ваш кредит; другими словами, дорогой господин Данглар, вам было сделано кровопускание, которое, если его повторить четыре раза, вызовет смерть. Смотрите, дорогой друг, будьте осторожней! Может быть, вам нужны деньги? Хотите, я вас ссужу?

— Вы все же плохо считаете! — воскликнул Данглар, призывая на помощь всю свою выдержку. — В эту самую минуту моя касса уже наполнена благодаря другим, более удачным спекуляциям. Потеря крови возмещена питанием. Я проиграл битву в Испании, я побит в Триесте, но мой индийский флот, быть может, захватил несколько судов; мои пионеры в Мексике где-нибудь наткнулись на руду.

— Прекрасно, прекрасно! Но шрам остался, и при первой же потере начнет кровоточить.

— Нет, потому что я действую наверняка, — продолжал Данглар с пошлым хвастовством шарлатана, у которого вошло в привычку превозносить себя, — чтобы свалить меня, потребовалось бы свержение трех правительств.

— Что ж! Это бывало.

— Гибель всех урожаяев.

— Вспомните о семи тучных и семи тощих коровах.

— Или чтобы море ушло от берегов, как во времена Фараона; да ведь морей много, а корабли заменили бы караваны, только и всего.

— Тем лучше, тем лучше, дорогой господин Данглар, — сказал Монте-Кристо, — я вижу, что ошибался и что вы принадлежите к капиталистам второй степени.

— Смею думать, что я могу претендовать на эту честь, — сказал Данглар со своей стереотипной улыбкой, напоминавшей Монте-Кристо маслянистую луну, которую малюют пло-

хие художники, изображая развалины. — Но раз уж мы заговорили о делах, — прибавил он, радуясь поводу переменить разговор, — скажите мне, что, по-вашему, я мог бы сделать для господина Кавальканти?

— Дать ему денег, если он аккредитован на вас и если вы этому кредиту доверяете.

— Еще бы, вполне! Он явился ко мне сегодня утром с чеком на сорок тысяч франков, подписанным Бузони и адресованным на ваше имя, с вашим бланком на обороте. Вы понимаете, что я ему немедленно отсчитал сорок бумажек.

Монте-Кристо кивнул в знак полного одобрения.

— Но это еще не все, — продолжал Данглар, — он открыл у меня кредит своему сыну.

— Разрешите нескромный вопрос: а сколько он дает сыну?

— Пять тысяч франков в месяц.

— Шестьдесят тысяч в год! Я так и думал, — сказал Монте-Кристо, пожимая плечами. — Все Кавальканти ужасные скряги. Что такое для молодого человека пять тысяч франков в месяц?

— Но вы понимаете, что если молодому человеку понадобится лишних несколько тысяч...

— Не давайте ему, отец и не подумает вам их зачесть; вы не знаете итальянских миллионеров: это сущие Гарпагоны. А кто открыл ему этот кредит?

— Банк Фенци, одна из лучших фирм Флоренции.

— Я не хочу сказать, что вам грозят убытки, отнюдь; но все же не выходите из пределов кредита.

— Вы, значит, не слишком доверяете этому Кавальканти?

— Я? Я дам ему под его подпись десять миллионов. Это, по моему распределению, состояние второй степени, дорогой барон.

— А как он прост! Я принял бы его за обыкновенного майора.

— И сделали бы ему честь; вы правы, вид у него не очень внушительный. Когда я его увидел в первый раз, я решил, что это какой-нибудь старый поручик, заплесневевший в своем мундире. Но таковы все итальянцы; они похожи на старых евреев, если не поражают своим великолепием, как восточные маги.

— Сын выглядит лучше, — сказал Данглар.

— Немного робок, пожалуй, но в общем вполне приличен. Я за него слегка опасался.

— Почему?

— Потому что, когда вы его у меня видели, это был чуть ли не первый его выезд в свет; по крайней мере мне так говорили. Он путешествовал с очень строгим воспитателем и никогда не был в Париже.

— Говорят, все эти знатные итальянцы женятся обыкновенно в своем кругу? — небрежно спросил Данглар. — Они любят объединять свои богатства.

— Обыкновенно — да; но Кавальканти большой оригинал и все делает по-своему. Он, несомненно, привез сына во Францию, чтобы здесь его женить.

— Вы так полагаете?

— Уверен в этом.

— И здесь знают о его состоянии?

— Об этом очень много говорят; только одни приписывают ему миллионы, а другие утверждают, что у него нет ни гроша.

— А ваше мнение?

— Мое мнение субъективно, с ним не стоит считаться.

— Но все-таки...

— Видите ли, ведь эти Кавальканти когда-то командовали армиями, управляли провинциями. Я считаю, что у всех этих старых подеста и бывших кондотьеров есть миллионы, зарытые по разным углам, о которых знают только старшие в роде, передавая это знание по наследству из поколения в поколение. Поэтому все они желтые и жесткие, как флорины времен Республики, которые они так давно созерцают, что отблеск этого золота лег на их лица.

— Вот именно, — сказал Данглар, — и это тем более верно, что ни у кого из них нет ни клочка земли.

— Или во всяком случае очень мало; сам я видел только дворец Кавальканти в Лукке.

— А, у него есть дворец? — сказал, смеясь, Данглар. — Это уже кое-что!

— Да и то он его сдал министру финансов, а сам живет в маленьком домике. Я же сказал вам, что он человек прижимистый.

— Не очень-то вы ему льстите!

— Послушайте, я ведь его почти не знаю; я встречался с ним раза три. Все, что мне о нем известно, я слышал от аббата Бузони и от него самого. Он говорил мне сегодня о своих

планах относительно сына и намекнул, что ему надоело держать свои капиталы в Италии, мертвой стране, и что он не прочь пустить свои миллионы в оборот либо во Франции, либо в Англии. Но имейте в виду, что, хотя я отношусь с величайшим доверием к самому аббату Бузони, я все же ни за что не отвечаю.

— Все равно, спасибо вам за клиента; такое имя украшает мои книги, и мой кассир, которому я объяснил, кто такие Кавальканти, очень гордится этим. Кстати, — спрашиваю просто из любознательности, — когда эти люди женят своих сыновей, дают они им приданое?

— Как когда. Я знал одного итальянского князя, богатого, как золотая россыпь, потомка одного из знатнейших тосканских родов, — так он, если его сыновья женились, как ему нравилось, награждал их миллионами, а если они женились против его воли, довольствовался тем, что давал им тридцать экю в месяц. Допустим, что Андреа женится согласно воле отца; тогда майор, быть может, даст ему миллиона два, три. Если это будет, например, дочь банкира, то он, возможно, примет участие в деле тестя своего сына. Но допустим, что невестка ему не понравится; тогда прощайте: папаша Кавальканти берет ключ от своей кассы, дважды поворачивает его в замке, и вот наш Андреа вынужден вести жизнь парижского хлыща, передергивая карты или плутуя в кости.

— Этот юноша найдет себе баварскую или перуанскую принцессу; он пожелает взять за женой княжескую корону, Эльдорадо с Потоси в придачу.

— Ошибаетесь, эти знатные итальянцы нередко женятся на простых смертных; они, как Юпитер, любят смешивать породы. Но, однако, дорогой барон, что за вопросы вы мне задаете? Уж не собираетесь ли вы женить Андреа?

— Что ж, — сказал Данглар, — это была бы недурная сделка; а я делец.

— Но не на мадемуазель Данглар, я надеюсь? Не захотите же вы, чтобы Альбер перерезал горло бедному Андреа?

— Альбер! — сказал, пожимая плечами, Данглар. — Ну, ему это все равно.

— Разве он не помолвлен с вашей дочерью?

— То есть мы с Морсером поговаривали об этом браке; но госпожа де Морсер и Альбер...

— Неужели вы считаете, что он плохая партия?

— Ну, мне кажется, мадемуазель Данглар стоит не меньше, чем виконт де Морсер!

— Приданое у мадемуазель Данглар будет действительно недурное, я в этом не сомневаюсь, особенно если телеграф перестанет дурить.

— Дело не только в приданом. Но скажите, кстати...

— Да?

— Почему вы не пригласили Морсера и его родителей на этот обед?

— Я его приглашал, но он должен был ехать с госпожой де Морсер в Дьепп; ей советовали подышать морским воздухом.

— Так, так, — сказал, смеясь, Данглар, — этот воздух должен быть ей полезен.

— Почему это?

— Потому что она дышала им в молодости.

Монте-Кристо пропустил эту колкость мимо ушей.

— Но все-таки, — сказал он, — если Альбер и не так богат, как мадемуазель Данглар, зато, согласитесь, он носит прекрасное имя.

— Что ж, на мой взгляд, и мое не хуже.

— Разумеется, ваше имя пользуется популярностью и само украсило тот титул, которым думали украсить его; но вы слишком умный человек, чтобы не понимать, что некоторые предрассудки весьма прочны и их не искоренить, и потому пятисотлетнее дворянство выше дворянства, которому двадцать лет.

— Как раз поэтому, — сказал Данглар, пытаясь иронически улыбнуться, — я и предпочел бы Андреа Кавальканти Альберу де Морсер.

— Однако, мне кажется, Морсеры ни в чем не уступают Кавальканти? — сказал Монте-Кристо.

— Морсеры!.. Послушайте, дорогой граф, — сказал Данглар, — ведь вы джентльмен, не так ли?

— Надеюсь.

— И к тому же знаток в гербах?

— Немного.

— Ну, так посмотрите на мой; он надежнее, чем герб Морсера.

— Почему?

— Потому что, хотя я и не барон по рождению, я во всяком случае Данглар.

— И что же?

— А он вовсе не Морсер.

— Как, не Морсер?

— Ничего похожего.

— Что вы говорите!

— Меня кто-то произвел в бароны, так что я действительно барон; он же сам себя произвел в графы, так что он совсем не граф.

— Не может быть!

— Послушайте, — продолжал Данглар, — Морсер мой друг, вернее, старый знакомый вот уже тридцать лет; я, знаете, не слишком кичусь своим гербом, потому что никогда не забываю, с чего я начал.

— Это свидетельствует о великом смирении или о великой гордыне, — сказал Монте-Кристо.

— Ну так вот, когда я был мелким служащим, Морсер был простым рыбаком.

— И как его тогда звали?

— Фернан.

— Просто Фернан?

— Фернан Мондего.

— Вы в этом уверены?

— Еще бы! Я купил у него немало рыбы.

— Тогда почему же вы отдаете за его сына свою дочь?

— Потому что Фернан и Данглар — оба выскочки, добились дворянских титулов, разбогатели и стоят друг друга; а все-таки есть вещи, которые про него говорились, а про меня никогда.

— Что же именно?

— Так, ничего.

— А, понимаю; ваши слова напомнили мне кое-что, связанное с именем Фернана Мондего; я уже слышал это имя в Греции.

— В связи с историей Али-паши?

— Совершенно верно.

— Это его тайна, — сказал Данглар, — и, признаюсь, я бы много дал, чтобы раскрыть ее.

— При большом желании это не так трудно сделать.

— Каким образом?

— У вас, конечно, есть в Греции какой-нибудь корреспондент?

— Еще бы!

— В Янине?

— Где угодно найдется.

— Так напишите вашему корреспонденту в Янине и спросите его, какую роль сыграл в катастрофе с Али-Тебелином француз по имени Фернан.

— Вы совершенно правы! — воскликнул Данглар, порывисто вставая. — Я сегодня же напишу.

— Напишите.

— Непременно.

— И если узнаете что-нибудь скандальное...

— Я вам сообщу.

— Буду вам очень благодарен.

Данглар выбежал из комнаты и бросился к своему экипажу.

Х. КАБИНЕТ КОРОЛЕВСКОГО ПРОКУРОРА

Пока банкир мчится домой, последуем за г-жой Данглар в ее утренней прогулке.

Мы уже сказали, что в половине первого г-жа Данглар велела подать лошадей и выехала из дому.

Она направилась к Сен-Жерменскому предместью, свернула на улицу Мазарини и приказала остановиться у пассажа Нового моста.

Она вышла и пересекла пассаж. Она была одета очень просто, как и подобает элегантной женщине, выходящей из дому утром.

На улице Генего она наняла фиакр и велела ехать на улицу Арле.

Оказавшись в экипаже, она тотчас достала из кармана очень густую черную вуаль и прикрепила ее к своей соломенной шляпке; затем она снова надела шляпку и, взглянув в карманное зеркальце, с радостью убедилась, что можно разглядеть только ее белую кожу и блестящие глаза.

Фиакр проехал Новый мост и с площади Дофина свернул во двор Арле; едва кучер открыл дверцу, г-жа Данглар заплатила ему, бросилась к лестнице, быстро по ней поднялась и вошла в зал Неслышных Шагов.

Утром в здании суда всегда много дел и много занятых людей; а занятым людям некогда разглядывать женщин; и г-жа Данглар прошла весь зал Неслышных Шагов, привлекая к себе не больше внимания, чем десяток других женщин, ожидавших своих адвокатов.

Приемная Вильфора была полна народу; но г-же Данглар даже не понадобилось называть себя; как только она появи-

лась, к ней подошел курьер, осведомился, не она ли та дама, которой господин королевский прокурор назначил прийти, и, после утвердительного ответа, провел ее особым коридором в кабинет Вильфора.

Королевский прокурор сидел в кресле, спиной к двери, и писал. Он слышал, как открылась дверь, как курьер сказал: «Пожалуйста, сударыня», как дверь закрылась, и даже не шевельнулся; но едва замерли шаги курьера, он быстро поднялся, запер дверь на ключ, спустил шторы и заглянул во все углы кабинета.

Убедившись, что никто не может ни подсмотреть, ни подслушать его, и, следовательно, окончательно успокоившись, он сказал:

— Благодарю вас, что вы так точны, сударыня.

И он подвинул ей кресло; г-жа Данглар села, ее сердце билось так сильно, что она едва дышала.

— Давно уже я не имел счастья беседовать с вами наедине, сударыня, — сказал королевский прокурор, в свою очередь усаживаясь в кресло и поворачивая его так, чтобы очутиться лицом к лицу с г-жой Данглар, — и, к великому моему сожалению, мы встретились для того, чтобы приступить к очень тяжелому разговору.

— Однако вы видите, я пришла по первому вашему зову, хотя этот разговор должен быть еще тяжелее для меня, чем для вас.

Вильфор горько улыбнулся.

— Так, значит, правда, — сказал он, отвечая скорее на собственные мысли, чем на слова г-жи Данглар, — значит, правда, что все наши поступки оставляют на нашем прошлом след, то мрачный, то светлый! Правда, что наши шаги на жизненном пути похожи на продвижение пресмыкающегося по песку и проводят борозду! Увы, многие поливают эту борозду слезами!

— Сударь, — сказала г-жа Данглар, — вы понимаете, как я взволнована, не правда ли? Пощадите же меня, прошу вас. В этой комнате, в этом кресле побывало столько преступников, трепещущих и пристыженных... и теперь здесь сижу я, тоже пристыженная и трепещущая!.. Знаете, мне нужно собрать всю свою волю, чтобы не чувствовать себя преступницей и не видеть в вас грозного судью.

Вильфор покачал головой и тяжело вздохнул.

— А я, — возразил он, — я говорю себе, что мое место не в кресле судьи, а на скамье подсудимых.

— Ваше? — сказала удивленная г-жа Данглар.

— Да, мое.

— Мне кажется, что вы, с вашими пуританскими взглядами, преувеличиваете, — сказала г-жа Данглар, и в ее красивых глазах блеснул огонек. — Чья пламенная юность не оставила следов, о которых вы говорите? На дне всех страстей, за всеми наслаждениями лежит раскаяние; потому-то Евангелие — извечное прибежище несчастных — и дало нам, бедным женщинам, как опору, чудесную притчу о грешной деве и прелюбодейной жене. И, признаюсь, вспоминая об увлечениях своей юности, я иногда думаю, что господь простит мне их, потому что если не оправдание, то искупление я нашла в своих страданиях. Но вам-то чего бояться? Вас, мужчин, всегда оправдывает свет, а скандал окружает ореолом.

— Сударыня, — возразил Вильфор, — вы меня знаете; я не лицемер, во всяком случае я никогда не лицемерю без оснований. Если мое лицо сурово, то это потому, что его омрачили бесконечные несчастья; и если бы мое сердце не окаменело, как оно вынесло бы все удары, которые я испытал? Не таков я был в юности, не таков я был в день своего обручения, когда мы сидели за столом, на улице Гран-Кур, в Марселе. Но с тех пор многое переменилось и во мне и вокруг меня; всю жизнь я потратил на то, что преодолевал препятствия и сокрушал тех, кто вольно или невольно, намеренно или случайно стоял на моем пути и воздвигал эти препятствия. Редко случается, чтобы то, чего пламенно желаешь, столь же пламенно не оберегали другие люди. Хочешь получить от них желаемое, пытаешься вырвать его у них из рук. И большинство дурных поступков возникает перед людьми под благовидной личиной необходимости; а после того как в минуту возбуждения, страха или безумия дурной поступок уже совершен, видишь, что ничего не стоило избежать его. Способ, которым надо было действовать, не замеченный нами в минуту ослепления, оказывается таким простым и легким; и мы говорим себе: почему я не сделал то, а сделал это? Вас, женщин, напротив, раскаяние тревожит редко, потому что вы редко сами принимаете решения; ваши несчастья почти никогда не зависят от вас, вы повинны почти всегда только в чужих преступлениях.

— Во всяком случае, — отвечала г-жа Данглар, — вы должны признать, что если я и виновата, если это я ответственна за все, то вчера я понесла жестокое наказание.

— Несчастливая женщина! — сказал Вильфор, сжимая ее руку. — Наказание слишком жестокое, потому что вы дважды готовы были изнемочь под его тяжестью, а между тем...

— Между тем?..

— Я должен вам сказать... соберите все свое мужество, сударыня, потому что это еще не конец.

— Боже мой! — воскликнула испуганная г-жа Данглар. — Что же еще?

— Вы думаете только о прошлом; нет слов, оно мрачно. Но представьте себе будущее, еще более мрачное, будущее... несомненно, ужасное... быть может, обгаренное кровью!

Баронесса знала, насколько Вильфор хладнокровен; она была так испугана его словами, что хотела закричать, но крик замер у нее в горле.

— Как воскресло это ужасное прошлое? — воскликнул Вильфор. — Каким образом из глубины могилы, со дна наших сердец встал этот призрак, чтобы заставить нас бледнеть от ужаса и краснеть от стыда?

— Это случайность.

— Случайность! — возразил Вильфор. — Нет, нет, сударыня, случайностей не бывает!

— Да нет же; разве все это не случайность, хотя и роковая? Граф Монте-Кристо случайно купил этот дом, случайно велел копать землю. И разве не случайность, наконец, что под деревьями откопали этого несчастного младенца? Мой бедный малютка, я его ни разу не поцеловала, но столько слез о нем пролила! Вся моя душа рвалась к графу, когда он говорил об этих дорогих останках, найденных под цветами!

— Нет, сударыня, — глухо промолвил Вильфор, — вот то ужасное, что я должен вам сказать: под цветами не нашли никаких останков, ребенка не откопали. Не к чему плакать, не к чему стонать, — надо трепетать!

— Что вы хотите сказать? — воскликнула г-жа Данглар, вся дрожа.

— Я хочу сказать, что граф Монте-Кристо, копая землю под этими деревьями, не мог найти ни детского скелета, ни железных частей ящичка, потому что там не было ни того, ни другого.

— Ни того, ни другого? — повторила г-жа Данглар, в ужасе глядя на королевского прокурора широко раскрытыми глазами. — Ни того, ни другого! — повторила она еще раз,

как человек, который старается словами, звуком собственного голоса закрепить ускользающую мысль.

— Нет, нет, нет, — проговорил Вильфор, закрывая руками лицо.

— Стало быть, вы не там похоронили несчастного ребенка? Зачем вы обманули меня? Скажите, зачем?

— Нет, там. Но выслушайте меня, выслушайте, и вы пожалеете меня. Двадцать лет, не делясь с вами, я нес это мучительное бремя, но сейчас я вам все расскажу.

— Боже мой, вы меня пугаете! Но все равно, говорите, я слушаю.

— Вы помните, как прошла та несчастная ночь, когда вы задохались на своей постели в этой комнате, обитой красным штофом, а я, почти так же задыхаясь, как вы, ожидал конца. Ребенок появился на свет и был передан в мои руки недвижимый, бездыханный, безгласный; мы сочли его мертвым.

Госпожа Данглар сделала быстрое движение, словно собираясь вскочить.

Но Вильфор остановил ее, сложив руки, точно умоляя слушать дальше.

— Мы сочли его мертвым, — повторил он, — я положил его в ящик, который должен был заменить гроб, спустился в сад, вырыл могилу и поспешно его закопал. Едва я успел засыпать его землей, как на меня напал корсиканец. Передо мной мелькнула чья-то тень, и словно сверкнула молния. Я почувствовал боль, хотел крикнуть, ледяная дрожь охватила мое тело, сдавила горло... Я упал замертво и считал себя убитым. Никогда не забуду вашего несравненного мужества, когда, придя в себя, я подполз, полумертвый, к лестнице, и вы, сами полумертвая, спустились ко мне. Необходимо было сохранить в тайне ужасное происшествие; у вас хватило мужества вернуться к себе домой вместе с вашей кормилицей; свою рану я объяснил дуэлью. Вопреки ожиданию, нам удалось сохранить нашу тайну; меня перевезли в Версаль; три месяца я боролся со смертью; наконец я медленно стал возвращаться к жизни, и мне предписали солнце и воздух юга. Четыре человека несли меня из Парижа в Шалон, делая по шести лье в день. Госпожа де Вильфор следовала за носилками в экипаже. Из Шалона я поплыл по Соне, оттуда по Роне и спустился по течению до Арля; в Арле меня снова положили на носилки, и так я добрался до Марселя. Мое выздоровление длилось полгода; я ничего не слышал о вас, не смел